

Его книги — книги не борьбы с миром, но книги героического приключения.
Эррол Линчесс

ГЕНРИ МИЛЛЕР



Мудрость сердца

Издательство "Азбука"

18+

Генри Миллер

Мудрость сердца (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10672456

*Мудрость сердца : повесть, рассказы, статьи / Генри Миллер ; пер. с англ. Б. Ерхова, А. Зверева, Н. Казаковой и др.: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-389-10254-5*

Аннотация

Виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, Генри Миллер прославился не только исповедально-автобиографическими романами, но и мемуарно-публицистическими очерками, в которых продолжает рассказывать о множестве своих друзей и знакомых, без которых невозможно представить современное искусство и литературу. Вашему вниманию предлагается один из сборников его рассказов и эссеистики, «Мудрость сердца», переведенный на русский язык впервые. Также в книгу входит представленная в новой редакции полемическая повесть «Мир секса», в которой Миллер доказывает, что противоречие между его «скандальными» и «философскими» произведениями лишь кажущееся...

Содержание

Мир секса	5
Мудрость сердца	36
Созидательная смерть	36
Бенно – дикарь с Борнео	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Генри Миллер

Мудрость сердца (сборник)

© Б. Ерхов, перевод, 2015
© А. Зверев (наследники), перевод, 2015
© Н. Казакова, перевод, 2015
© Е. Калявина, перевод, 2015
© В. Минушин, перевод, 2015
© Н. Пальцев, перевод, 2015
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

* * *

Мир секса *Перевод Н. Казаковой*

Предисловие

Первоначальная версия этой книги была частным образом издана человеком, давно перебравшимся в мир иной. Я не знаю ни тиража, ни количества проданных экземпляров. Книгой торговали из-под прилавка, и никто не вел никакого учета. Во всяком случае, я не имею об этом ни малейшего представления.

После смерти издателя тираж не возобновлялся. А так как английские и американские издатели явно не спешили с перепечаткой, я решил выпустить ее во Франции, где все мои запрещенные сочинения издавались и издаются по сей день.

Однако, прежде чем довериться почте, мне вздумалось перечитать, что же я насочинял столько лет назад¹. Это было чудовищной ошибкой. Я взялся за переделку с дьявольским воодушевлением, и в результате получилась вещь, имеющая мало общего с оригиналом.

Пока я работал, мне пришло в голову, что читатель может заинтересоваться, как протекает творческий процесс, и тогда можно будет положить перед глазами оба варианта, дабы иметь возможность их сличить.

Не удовлетворившись полученным результатом, я переписал заодно и исправленную версию. То, что вы сейчас видите, есть следствие всех, а не только приведенных здесь, переделок. Усилий было затрачено много, зато работа над ошибками оказалась куда интересней, чем создание оригинала.

Главная цель, которую я преследовал, взявшись за это предприятие, заключалась не в изменении сути, а в предельной шлифовке собственных мыслей. Надеюсь, мне это удалось.

Генри Миллер

* * *

Большинство моих читателей делится на две группы: в одной – те, кого от избытка секса в книге будто бы коробит, в другой – те, кто только рад, что данный элемент играет центральную роль. К первой группе относятся все те, кто считает мои эссе и статьи не только достойными похвалы, но и как нельзя лучше соответствующими их собственному вкусу; вместе с тем они изумляются, как из-под пера одного и того же человека могут выходить столь непохожие друг на друга произведения. Ко второй группе относятся те, кого раздражает моя, по их выражению, «серьезная сторона» и кто, соответственно, находит удовольствие в навешивании ярлыков, объявляя любые признаки серьезности пустой болтовней и мистицизмом. Лишь горстка людей, обладающих даром проникновения, способны узреть одно целое в двух столь несхожих ипостасях человека, приложившего бездну усилий, чтобы не утаить ни единой частички своей личности в этой работе.

Однако я был приятно удивлен, обнаружив, что даже те, кто воспринимает в штыки мою писанину, после первой же встречи перестают отождествлять меня с нею и переносят на меня ту неприязнь, что предназначена ей. Постоянное и непосредственное общение

¹ В 1940 г. (*Примеч. авт.*)

с аудиторией легко рассеивает многие антипатии. Я уверовал в силу слова – слова искреннего и максимально точно передающего суть. Эта сила стирает грань между писателем и человеком, между тем, что я есть на самом деле, и тем, что я делаю или говорю. А это, по моему робкому разумению, и есть высшая цель Автора. Та же цель – объединение сущностей – лежит и в основе религии. Похоже, узы, связывающие меня с Господом, оказались крепче, нежели я предполагал.

Когда при мне начинают противопоставлять сексуальное и религиозное, я возражаю, что любая грань жизни – сколь угодно вынужденная, сколь угодно спорная – имеет обратную сторону, и так будет всегда, сообразно нашему взрослению и развивающемуся пониманию. Попытки ярых моралистов исключить «отталкивающие», низменные стороны бытия не только абсурдны, но и тщетны. Кто-нибудь, возможно, и преуспее, подавляя в себе «греховные» мысли и желания, порывы и стремления, но тем сделает шаг навстречу разрушению. (Быть святым или быть преступником – это и не выбор вовсе.) Воплотить свои желания и таким образом чуть изменить их природу – цель любого эволюционирующего существа. Но желание первостепенно и неискоренимо даже тогда, когда, как говорят последователи Будды, оно превращается в свою противоположность. *Чтобы освободиться от желания, необходимо иметь желание освободиться.*

Тема эта интересовала меня издавна. Всю жизнь я оказывался жертвой своих безудержных страстей. Пережив длительный период творческой активности, я пуще обычного озадачился вопросом: почему размышления на эту тему всегда заводят людей в такую непролазную трясину?

В 1935 году приятель-окультист всучил мне бальзаковскую «Серафиту». Эта книга перевернула мои представления о Мысли как предмете исследования. Это была не просто книга, это был Опыт, воплощенный в Слове. Проглотив «Серафиту», я взялся за другое незаурядное произведение Бальзака – «Луи Ламбер», а потом увлекся историей жизни писателя. Мои старания вылились в трактат «Бальзак и его двойник»². Мучившим меня противоречиям пришел конец.

Мало кто знает, что Бальзаку не давала покоя тема ангела в человеке. На этом я хочу остановиться поподробней, потому что тот же самый вопрос, в несколько измененном виде, был и моей навязчивой идеей. Я убежден, что о любой творческой личности можно сказать то же самое. Признавая это или нет, но любой художник одержим стремлением переделывать мир, дабы обрести утраченное человеком Целомудрие. Он знает, что целомудрие можно обрести заново, лишь став свободным. Свобода в данном случае означает смерть Механизма.

В одном из своих эссе Лоуренс заметил, что существуют два основных образа жизни – религиозный и сексуальный. Он провозгласил превосходство первого, тем самым принизив значение второго. Я же всегда полагал, что существует лишь один путь – путь Правды, ведущий не к спасению, но к просветлению. Как бы ни различались цивилизации, как бы ни менялись законы, обычаи, верования и идолы, но в биографиях выдающихся духовных лидеров я наблюдаю странное сходство, которое может послужить наглядным примером правдивости и цельности, понятным даже младенцу.

Только не говорите, что такие мысли не очень-то вяжутся с образом автора «Тропика Рака». Еще как вяжутся! Хоть я и не скупился в романе на секс-моменты, однако первостепенный интерес для меня представляло не совокупление как таковое и не религия, а вопрос самоосвобождения. В «Тропике Козерога» так называемое непристойное использовалось гораздо продуманней и тоньше – возможно, из-за обостренной чувствительности к изнуряющим требованиям печатного слова как выразительного средства. Интерлюдия под названием

² Первая публикация – в сборнике *Max and the White Phagocytes* («Макс и белые фагоциты») (Obelisk Press, Paris, 1938). (Примеч. авт.)

«Страна Ебландия» явилась кульминационной точкой слияния символа, мифа и метафоры. Используя ее в роли громоотвода, я убил двух зайцев (цирковой клоун ведь не только разряжает напряжение, но и готовит зрителя к еще большему напряжению). Работая над «Тропиком...»³, я лишь смутно сознавал значение этого, однако цель этого была мне совершенно ясна. Без ложной скромности могу утверждать, что в этой Интерлюдии я превзошел самого себя. Может, когда-нибудь эта буффонада подтолкнет к разгадке природы внутренних противоречий, обуревавших автора. Суть конфликта сводится к трудному для понимания феномену противоположностей. Между Словом и Откликом мерцает еле заметная искра. Объяснять этот вопрос (а именно так и поступает большинство ученых мужей) социальной, политической и экономической неустойчивостью означает извратить его существо.

Подлинная причина лежит глубже. Новый мир только-только зарождается. Новый человек пребывает в зачаточном состоянии. Обреченные на тяжкие испытания, люди застыли, парализованные ужасом и мрачными предчувствиями. Они ушли в себя, попрятавшись в свои норы, больше похожие на вырытые самим себе могилы; чувство реальности напоминает о себе, лишь когда возникают немногие сохранившиеся физиологические потребности. *Плоть давно перестала быть храмом духа*. Человек постепенно умирает для мира – и для Создателя. Жизнь теряет свою самооценку, процесс распада тянется веками. О повсеместном угасании Искры Жизни говорит энтузиазм, с которым философы, мыслители, равно как военные, политики и прочие аферисты, вдохновенно симулируют бурную деятельность. Нездоровое оживление свидетельствует о надвигающейся смерти.

Когда я брался за перо, мне в голову не приходило задумываться о таких вещах. Чтобы все встало на свои места, мне пришлось пережить собственную «малую смерть». Взяв десятилетний тайм-аут, я умер для мира. В Париже я, как всем теперь известно, обрел себя.

В первые пару лет парижской жизни я почти в буквальном смысле этого слова прекратил свое существование. Писателя, коим я *надеялся* стать, больше не существовало, остался тот, кем я *должен* был стать. (В поисках пути я обрел Голос.) «Тропик Рака» – это завещание, написанное кровью, рассказывающее о пагубном опустошении, которым завершилась моя борьба со смертью. Пронизывающий «Тропик...» аромат секса на самом деле есть аромат рождения; лишь те с отвращением морщатся и воротят нос, кому не удалось понять его смысл.

В «Тропике Козерога» разум эволюционирует от осознания Себя к осознанию Цели. Метаморфоза проявляется скорее в поведении, нежели в изреченном слове. В книге показан конфликт между Автором, чья цель – завершить свой труд, и Человеком, который подспудно уверен, что самовыражение не ограничивается каким-либо одним выразительным средством (например, искусством), что оно затрагивает каждую ступень, из которых сложена лестница жизни. Это борьба – более или менее сознательная – между Долгом и Желанием. Мирская половина человека стремится исполнить свой долг, а половина, принадлежащая Господу, жаждет осуществить предначертанное, невыразимое... Проблема заключается в том, чтобы выжить в необитаемом пространстве, где приходится рассчитывать только на самого себя. Рассуждая таким образом, творить надо, обращаясь к прошлому, а жить – заглядывая в будущее. Оступишься – сорвешься в бездну, откуда нет возврата. Борьба идет на всех фронтах, безостановочно и беспощадно.

Мой злейший враг – это, как и у всех, я сам. В отличие от остальных, я знаю, что мой единственный спаситель – тоже я. Я знаю, что свобода подразумевает ответственность. Я знаю, что желание может легко обернуться явью. Когда я сплю, какая-то частичка моего

³ См. *Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch* («Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха») (New Directions, N. Y., 1957). (Примеч. авт.)

сознания остается настороже, контролируя, *что* и – главное! – *почему* мне снится, ибо сон есть тончайшая пелена, отделяющая вымысел от реальности.

В той или иной степени секс играет роль в жизни каждого, но сейчас речь не о том. Ведь многие великие открытия были сделаны людьми, лишенными (или лишившими себя) радостей, которые дарует эта сторона бытия. Однако большинство шедевров искусства появились на свет благодаря тому, что жизнь их создателей напоминала бурлящий котел, в котором кипели жаркие страсти. Периоды их наибольшей творческой активности отмечены взрывами невероятной чувственной энергии, не ведающей преград. Но само по себе воздержание или же, напротив, потакание своим страстям не объясняет ничего. Мы пытаемся втиснуть секс, как и все остальные проявления человеческой жизни, в какие-то рамки, установить нормы, но норма – понятие статистическое, усредненное по множеству мужчин и женщин. То, что считается нормальным, разумным и полезным для большинства, не может считаться критерием поведения, когда речь заходит об отдельной выдающейся личности. Примеры жизни и творчества гениев – лишнее тому доказательство. Путь к самореализации лежит через осознание уникальности всех вместе и каждого в отдельности.

Законы и обычаи, придуманные нами же, относятся к общественному бытию, которое составляет лишь малую часть жизни. Настоящая жизнь начинается в тот момент, когда мы остаемся наедине со своим неизвестным «я» и пускаемся во внутренние монологи. Значительные, в буквальном смысле поворотные события, происходящие с нами на жизненном пути, суть продукт молчания и одиночества. Мы многое приписываем мимолетным встречам, считая их в ответе за происходящее с нами, но эти случайные столкновения никогда не произошли бы, не будь мы к ним подсознательно готовы. Будь мы мудрее, воспринимали бы их как дар свыше, использовали бы полнее. Эти нечастые откровения посылаются нам, лишь когда мы пребываем в мире и гармонии с самими собой. Любая «случайность» исполнена глубокого смысла и способна круто изменить не только жизнь одного человека, но и все то, что его окружает.

Роль секса в жизни отдельной личности обусловлена, как известно, множеством факторов. Не исключено, что можно выявить некоторую сложную закономерность, учитывающую и самые крайние случаи. Секс представляется мне крайне малоизученной и таинственной областью, каковой, видимо, и останется. Впрочем, это касается и всех прочих граней нашей жизни. *Чем шире кругозор, тем дальше горизонт.* Чем больше человек узнает, тем яснее понимает, что мы окружены океаном стихий, равнодушных к нашему хилому разуму и ничтожному интеллекту. Отказываясь признавать зарождение жизни как таинство, мы не сможем проникнуть в тайны и постичь законы бытия.

Секс – одна из таких тайн. Я далек от мысли считать себя экспертом в этой области. Меня никогда не влекли лавры Дон Жуана. Конечно, нравы большого города не располагают человека оставаться праведником, но, в общем-то, моя жизнь протекала довольно тихо и законопослушно. По меркам творческой профессии, мой опыт в любовных делах вряд ли заслуживает того, чтобы о нем говорить. Однако он позволяет мне поделиться с читателем некоторыми любопытными наблюдениями. Я как бы обозначил на карте островки, которые могут послужить ориентирами для первопроходцев, прокладывающих новые великие пути.

В Париже, после того как я вынырнул из духовного небытия, память стала с пугающей ясностью подсовывать мне целые куски из моей прошлой жизни. У меня прорезался дар Воспоминания. Может показаться невероятным, но то, что я считал давно забытым, то, что я хотел забыть навсегда, внезапно оказывалось на поверхности, словно поднесенное на блюде чьей-то услужливой рукой. Случаи, случайности, мимолетные встречи с нестерпимой яркостью роились в моем сознании. Любая мелочь обретала значение и становилась событием. Я вдруг почувствовал, что могу поименно вспомнить все то гигантское множество живых существ – мужчин, женщин, детей, животных, – с которыми сводила меня судьба,

и при этом видеть это множество как одно целое, так же отчетливо, как мы видим созвездия ясной зимней ночью. Я узнавал орбиты, которые выписывали мои земные друзья, я разглядел в этом хаосе и свою собственную безалаберную линию жизни, подобную траекториям туманностей, Солнца, Луны, спутников, метеоров, комет и звездной пыли. Я наблюдал периоды противостояния и слияния, полного и частичного затмения планет. Я видел прочную и долгую нить, связующую меня с другими людьми, с которыми – и это большая честь для меня – в какой-то момент сводила меня жизнь. Но главное, я увидел в этой творившейся фантазмагории себя таким, каким я мог бы стать. В этот миг просветления мне довелось осознать себя частицей существующего мира и в то же время понять, как одинок я был среди людей. (Так бывает, когда занавес падает – и возня останавливается.) В гигантском амфитеатре, сперва показавшемся пустым и гулко-нелепым, мне наконец посчастливилось стать свидетелем и участником акта Сотворения.

Итак, мужчины, женщины, дети... Здесь собрались все, и каждый был частью целого. Чего здесь только не было! – изобилие книг, горы, реки, озера, города, леса, причудливые создания воздуха, воды и недр. Имена, места, люди, события, идеи, мечты, чаяния, желания, надежды, планы и крушение планов, разочарования – все было ярко и живо, будто наяву. Пространство, как ему и полагалось, было трехмерным. Уходящая в бесконечность пелена тумана (метафизика), бескрайние пламенеющие завесы (религии), пылающие кометы, уцепившись за хвосты которых появлялись и исчезали надежды... И был Секс. Но что есть Секс? Он вездесущ, как и все, что имеет божественное происхождение. Им было пронизано и пропитано все насквозь. Может, он есть Старшая Вселенная, а может, он мифическое чудовище, оценившееся, как кутенком, миром, моим миром, и не канувшее в небытие после родов-Сотворения, а оставшееся, чтобы поддержать свое новорожденное дитя (и себя самое).

Сегодня это переживание занимает в моей памяти примерно такое же по значимости место, как Всемирный потоп – в глубинах человеческого подсознания. Но я *знаю*, что настал день, когда сошли воды и обнажились скалы. Знаю, потому что на них лежал *Я*, выброшенный на самый высокий пик, в ковчеге, который я построил, повинувшись таинственному Гласу. И вдруг из мглы вырвались птицы, рассеивая ее огненными крылами... Это случилось в незапамятные времена, после очередного распада мира, о котором все давно забыли и который лежит, погребенный в руинах людской памяти.

Мифический монстр! Я должен сохранить увиденное хотя бы на бумаге, прежде чем оно утратит форму и смысл, прежде чем от меня ускользнет путеводная нить.

Очнувшись от глубокого транса, я, подобно Ионе, обнаружил себя во чреве кита. Мягкий серый цвет ласкал глаз. Чего бы я ни коснулся, все было приятно на ощупь. Похожее чувство, наверно, испытывает хирург, погружая руки в нашу живую плоть. Было довольно тепло, но отнюдь не жарко. В общем, нормальная утробная атмосфера: здесь было все, о чем может помыслить привыкший к роскоши увалень. С моей-то врожденной гиперцивилизованностью, я не ощущал ни малейшей неловкости. Все было такое родное и знакомое для моих сверхтонченных чувств. Я мог с уверенностью рассчитывать на чашку дымящегося кофе с коньяком, на гаванскую сигару и шелковую пижаму, на уютный халат и множество других мелочей, без которых истинному гурману и гедонисту, избалованному цивилизацией, жизнь кажется неполной. Ни тебе изнурительной борьбы за существование, ни тебе забот о куске хлеба – словом, никаких застарелых социально-психологических комплексов. Я всегда считал себя вольной птицей, стоящей выше этих заморочек, которыми щедро потчует нас общество. Вечерами я лениво листал газеты и, мельком пробежавшись по заголовкам, жадно набрасывался на объявления, светские сплетни, театральные новости и прочую дребедень вплоть до странички, где помещались заунывно-однообразные некрологи и дежурные соболезнования близким умерших.

Флора и фауна царства Чрева почему-то околдовали меня с первого взгляда. Я озирался с восхищением истинного ученого. (Тогда я придумал себе прозвище «рехнувшийся травопатолог».) Дивные дива открылись мне в запутанных хитросплетениях этого лабиринта... Но, к сожалению, сие увлекательное повествование придется прервать, поскольку оно лишь повод к рассказу о моем первом знакомстве с Ее Величеством Пиздой.

Произошло оно в погребке, когда мне было лет пять или шесть. Память сохранила смутное воспоминание о некой «железной маске». Несколько лет назад, листая какую-то иллюстрированную книгу, я буквально оторопел, наткнувшись на изображение древней маски, ужасно напоминающей женское лоно, из которого, если приподнять забрало, высовывалась мужская голова. Оправившись от шока, я наконец-то получил ответ на вопрос, мучивший меня с тех, давних уже, пор, когда я впервые пристально рассмотрел женские гениталии. (В «Тропике Рака», если помните, есть некий персонаж, для которого этот интерес превратился в сущее наваждение. Боюсь, что он и по сей день взламывает заветные врата одни за другими в тщетной надежде – как он это сам себе объясняет – разгадать их тайну.)

В пору моего детства этот запретный мир был лишен какой бы то ни было растительности. Как я сейчас понимаю, отсутствие волосяного покрова лишь подхлестывало наше воображение, стихийно оживлявшее эту таинственную пустошь. Мы не пытались вникнуть в ее внутреннюю сущность, нас куда больше завораживало вымышленное нами растительное убранство, которое в один прекрасный день должно было украсить эту диковинную целину. Сообразно времени года, возрасту затейников, месту действия и множеству других замысловатых обстоятельств, гениталии некоторых малышей являли, как мне вспоминается сейчас, такое разнообразие, которое не снилось ревнителям оккультизма даже в самых фантастических снах. Нашим впечатлительным умам виделась безымянная фантасмагория, изобиловавшая реальными, осязаемыми, умопостигаемыми образами, которые тем не менее не имели названия, ибо никак не соотносились с живым опытом, где все разложено по полочкам: имя, дата, место. Потому-то и говорилось, что под юбочками у прелестных крошек скрываются магнолии, или пузырьки одеколона, или бархатные пуговицы, или резиновые мышки... да что только не скрывалось. Само собой подразумевалось, что некая щель есть у каждой барышни. Порой злые языки судачили, что, мол, у той она отсутствует, а эта и вовсе «морфодит». «Морфодит» – непонятный пугающий термин, который никто не мог толком объяснить. То имелась в виду какая-то непонятная двуполость, то еще что-нибудь столь же туманное, вроде того, что там, где подобает быть щели, на самом деле то ли раздвоенное копыто, то ли скопище бородавок. В общем, увидишь – не обрадуешься!

В нашем отношении к некоторым наперсницам этих детских забав сквозили предвзятость и предубеждение. Мы полагали их порочными, невесть почему заведомо причислив к особам, которым в будущем суждено было пополнить ряды шлюх и проституток. Кто-то из них уже вовсю пересыпал свою речь бранными словечками, относящимися к запретному таинству. Кто-то был готов свершить недозволенное за пустяковую безделушку, а то и просто за пару медяков. Другие же казались нам ангелами. Хотя ангельского в них было лишь то, что мы по простоте душевной не допускали даже мысли о том, что у них есть эта пресловутая щель... Совершенно невозможно было, например, представить их писающими.

Точность наших детских наблюдений не переставала изумлять в зрелые годы, в особенности когда до меня доходили известия о жизни наших милых «распутниц». Порой и ангелицам выпадало оступиться и очутиться в канаве, из которой так и не удавалось выбраться. Но это, скорей, являлось исключением из правил. Обычно судьба ангелиц складывалась иначе. Кого-то ждало горе и разочарование, неудачное замужество, одни коротали век старыми девами, на других обрушились болезни, а некоторые до конца жизни не смогли избавиться от деспотичной родительской опеки. Те же, кому мы прочили погрязнуть в распут-

стве, выросли жизнерадостными, отзывчивыми, чуткими до мозга костей существами, хотя жизнь их потрепала и вид они приобрели изрядно потасканный.

Взрослея, мы стали терзаться любопытством иного рода, горя желанием выяснить, как же эта «штуковина» функционирует. Мы подначивали своих десяти-двенадцатилетних подружек принимать нелепейшие позы, чтобы подсмотреть, как они пишут. Некоторые, особо одаренные, умудрялись, лежа на полу, пускать струйки прямо в потолок. Кого-то подозревали в том, что они не брезгают свечками и палками от швабры. Когда об этом заходила речь, голоса понижались до шепота, а сам разговор становился путаным и сбивчивым. Атмосфера отдаленно напоминала ту, что царила в философских школах раннего эллинизма. Логика брала верх над эмпирикой. Исследовательский зуд уступал, как я сейчас понимаю, жажде выговориться, обсудить сей предмет *ad nauseam*⁴. Увы, интеллект уже требовал своего. Вопрос «Как устроена эта штука?» померк перед вопросом «Зачем она вообще нужна?». Сердца туманила неясная печаль, дочь сомнения. Мир, еще вчера столь простой и ясный, пошатнулся. Все изменилось. Все требовало доказательств – или опровержений. Кудри Венеры зазмеились и стали вызывать отвращение. На личиках маленьких ангелиц расцвели прыщи. У некоторых начались месячные.

Мастурбировать было не в пример интереснее. Лежишь себе в постели или теплой ванне и представляешь рядом с собой царицу Савскую или кого-нибудь из королев бурлеска, чьи дразнящие тела, намалеванные на каждом углу, будоражили наше воображение. Разглядывая плакаты, на которых вихрились задранные выше головы юбки, мы гадали, что же происходит на этих представлениях на самом деле. Некоторые мальчишки говорили, что плясуньи бесстыдно срывают с себя шикарную одежду до последнего лоскутика и демонстрируют свои прелести, заставляя обезумевшую матросню срываться с мест и, отпихивая друг друга, бежать к сцене. Зачастую приходилось опускать занавес и вызывать стражей порядка.

С нашими подругами творилось что-то неладное. Они изменились. И – как все в этом мире – не к лучшему. Мальчиков одного за другим отправляли работать. Образование стало роскошью, доступной лишь отпрыскам состоятельных родителей. Воцарялся невольничий рынок. Мир рушился, разлетелся в мелкие дребезги у нас на глазах. *Наш* мир.

Мы узнали о существовании исправительных домов для малолеток и для уличных девиц, о психушках и многом другом.

Но прежде чем миру было суждено окончательно разлететься в пух и прах, могло произойти чудо. На какой-нибудь вечеринке, вот как. Где должно было появиться нечто, от чего замирает дыхание и чему род человеческий еще не придумал имени.

Спустя много лет эти беззаботные сборища юности кажутся мне пиром накануне чумы или революции. Нас ошалело несло в беспримерно счастливое будущее, сулившее небывалую радость, хотя в глубине души зудело предчувствие чего-то нехорошего, что разделит всю жизнь на «до» и «после». Перед вечеринкой воздух трепетал от слухов. За нашей спиной расплзался противный шепоток родителей, старших братьев и сестер, соседей. Все знали обо всех всё, и даже больше. Все словно сговорились залезть в святая святых – твою личную жизнь, твоим тайным переживаниям грозила огласка. Вся округа с жадностью следила за твоей жизнью. Шагу нельзя было ступить, чтобы не почувствовать впившиеся в спину любопытствующие взгляды, не услышать противное шушуканье. И всех так занимал твой возраст! Подслушанная фраза взрослых «ему стукнуло пятнадцать», произнесенная многозначительным тоном, намекала на самую постыдную – и постыдно-загадочную – подоплеку. Все это напоминало зловещее кукольное представление, где взрослые были кукловодами, а нам досталась роль бестолковых и беспомощных марионеток, над которыми потешались, насмехались и которые в отчаянии творили невообразимые вещи.

⁴ До тошноты (*лат.*).

Наконец, после недель треволений наступал решающий день. Девочки появлялись в самый последний момент. И тут, к вящему твоему ужасу, оказывалось, что ты вырос безмозглым тупицей, что ты стоишь, словно пригвожденный к полу, не зная, куда девать неожиданно длинные руки. Ты был уверен, что все просчитал, все учел до мелочей – каждое слово, каждый взгляд и жест! Казалось, этот кошмар никогда не кончится. Твоя принцесса вовсю кокетничала с другими, лишь однажды тебе дали понять, что тебя заметили. Приблизиться к ней, как бы невзначай коснуться края одежды, вдохнуть аромат ее дыхания – все это стоит невероятных усилий, искусства, великого мужества! Вдруг с горечью понимаешь, что на этом празднике жизни ты единственный неуклюжий олух и болван, тогда как остальные беззаботно и грациозно порхают по натертому до зеркального блеска полу. Они безмятежно и непринужденно кружат по залу, а ты если и приближаешься к ней, то возле чертовски скучных объектов наподобие пианино, стойки для зонтов, книжного шкафа. Порой Ее Величество Случайность толкала вас друг к дружке. Но даже когда все тайные силы были, казалось, на вашей стороне, внезапно вторгалось нечто враждебное и разлучало нас. К тому же верх бестактности проявляли родители: они толкались, пихались, по-обезьяньи всплескивали руками, отпускали скабрзные шуточки, приставали с дурацкими вопросами. Короче, вели себя как идиоты.

Под занавес вечера все жали друг другу руки. Некоторые гости, расходясь, громко чмокали друг друга на прощанье. Смелчаки! Влюбленные и томящиеся, те, кому претила подобная фамильярность, попросту терялись в толчее и сумятице. До них никому не было дела. Как будто их попросту не существовало.

Вот уже и пора уходить. На улице темно и пустынно. Трогаешься в путь... Усталость как рукой сняло. Ты ликуешь, хотя ликовать, собственно, не из-за чего. Вечеринка потерпела полное фиаско. Но чудо все же произошло! Она пришла! Ты весь вечер любовался ею. Не сводил глаз... Едва дотронулся до ее руки. Нет, вы только подумайте – *едва*. Минуют недели, может быть, месяцы, прежде чем ваши пути вновь сойдутся. (Вдруг ее родителям взбредет в голову переехать в другой город! Со взрослыми такое бывает.) Пытаешься вызвать в памяти видение – вот она стреляет глазами, без умолку щебечет, вот она откидывает голову, заливаясь смехом, и платье облегает ее стройную фигурку. Смакуешь каждое мгновение, заново переживая чувства, нахлынувшие на тебя, когда она появилась на пороге и приветливо кивнула кому-то другому, – не заметив тебя, а может, не узнав. (Или девичья стыдливость не позволила ответить на твой жадный, страстный взгляд?) *Такие* девушки не афишируют своих переживаний. Эфирное, воздушное создание. Ей не понять океанские глубины твоего чувства!

Быть влюбленным... Быть бесконечно одиноким...

Так это начиналось... Сладостная и горькая печаль, ниспосланная тебе в испытание. Томление, одиночество, предваряющие посвящение в таинства.

И в спелом, душистом яблоке может притаиться червяк. Медленно, но неотвратимо он точит это яблоко. До тех пор, пока от яблока ничего не остается. Кроме червяка.

А как же сердцевина? Сердцевина яблока пребудет, даже если только как идея. Довольно ли осознания того факта, что у любого яблока есть сердцевина, чтобы уравнять чашу весов, на которой лежат сомнения, неуверенность, страхи? Что – мир! что – страдания и гибель миллионов людей! пусть все катится ко всем чертям, покуда Она владеет его помыслами! Пусть им больше не суждено встретиться, но нет такой силы, которая могла бы помешать ему думать о ней, мысленно разговаривать и – любить, любить на расстоянии, любить вечно. Никто не в силах запретить ему это. Никто.

Подобно телу, состоящему из мириадом клеток, печаль разрастается, обновляется новой, более безутешной печалью, она становится целым миром... или загадкой, которая

сама по себе есть ответ. Все преходяще, а эта мука вечна. *C'est la vie!*⁵ Тебя вдруг осеняет, что единственный выход – покончить с этой никчемной жизнью, и загадка решится сама собой. Но разве это выход? В нем есть что-то нелепое. Духовное самоубийство и проще, и эффективней. Его называют по-разному: кто – приспособленчеством, кто – социальной мимикрией. Но это не то, к чему должно стремиться. Должно – быть человеком. Когда-нибудь придет понимание: «быть человеком» – это нечто совсем особое. И в один прекрасный день проснешься с мыслью, что лишь очень и очень немногие достойны носить звание Человека. И чем глубже будет твое прозрение, тем меньше *людей* ты встретишь на своем пути. Цепляясь за свое открытие, ты завершишь путь в гулкой пустоте Гималаев и там узнаешь, что достойный звания Человека еще только ожидает своего часа рождения.

Приспосабливаясь к этой жизни, мужчины начинают видеть женщин в искаженной перспективе. Именно в этот момент на твоём пути обязательно встретится кто-нибудь более «опытный», полагающий, будто «знает женщин». Простак, реалист до мозга костей, он убежден, что переспать с женщиной и *познать* ее – это одно и то же. Давние и активные взаимоотношения с противоположным полом вселяют в него уверенность, что чем больше женщин он успел трахнуть, тем больше у него оснований судить о них! Клоун, нахлобучивший на себя вызывающе безвкусный парик! Повстречав настоящую Женщину, столкнувшись с подлинным Опытом, этот тип выставит себя посмешищем, подобно старику, который тщится выглядеть юношей. Публика увидит только парик.

В этот переходный период я обзавелся веселым приятелем, с которым иногда пропускал рюмочку-другую. Он изо всех сил стремился снискать себе репутацию прожженного, пресыщенного победами ловеласа, в простоте душевной не замечая, что меня коробит от его поведения. Он суеверно опасался длительных связей, полагая самым страшным в жизни потерять голову от любви. Он панически боялся, что женщина может завладеть его драгоценной сущностью. Наверно, потому и повадился повсюду таскать за собой меня. Очевидно, чтобы поделиться опытом надлежащего обращения с дамами.

Судьба, словно в насмешку, заставляла жертв его бесцеремонной «мужественности» обращать свою благосклонность в мою сторону. Его эпатаж, мальчишество, хулиганские выходки вызывали лишь снисходительную усмешку у прекрасных дам. Беззлобно посмеиваясь над ним, его подруги великодушно брали его под свою опеку. Мой приятель выдавал желаемое за действительность, бахвалясь вереницей одержанных побед и кичась умением подобрать ключик к любой женщине. Только слепой мог не заметить, что этот новоиспеченный Казанова вызывал у каждой своей пассии лишь материнские чувства, пусть это и не мешало им извиваться и плакать от восторга или, напротив, томно постанывать, сплетаясь телами в жаркой любовной схватке. Он имел обыкновение резко, без видимой причины и объяснений, рвать отношения, уподобляясь дезертиру, трусливо бегущему с поля боя. «Все дырки одинаковы», – говорил он, смятенно отводя глаза и горестно сетуя, что никак не удастся отыскать ту единственную дырку, которая отличалась бы от остальных.

Независимо от моей личной приверженности к «дырке», главным для меня всегда оставалась личность ее обладательницы. Все в мире взаимосвязано. Любая, сколь угодно пахучая дырка олицетворяет собой эту вселенскую взаимосвязь. Попасть в мир через вагину – путь ничуть не хуже прочих. Если зайти дальше и остаться на дольше, может, и найдешь, что искал. Только игра должна вестись в открытую, когда все заморочки остаются за порогом. (Под заморочками я имею в виду страхи, предрассудки, предубеждения.)

Лучше всех это понимают жрицы продажной любви. Если к проститутке отнестись по-человечески, она предложит вам лучшее, что у нее есть, – свою душу. Большинство мужчин, приходя в бордель, порой даже не дают себе труда снять пальто и шляпу, образно говоря,

⁵ Такова жизнь! (*фр.*)

а после имеют наглость возмущаться, что переплатили, что им недодали. На самом деле если не полениться и нащупать верную тропинку, то любая проститутка может оказаться кладезем нерастраченного великодушия и благородства. Мечта всякой падшей женщины – встретить человека, который разглядит ее Душу.

Мы гонимся за деньгами, любовью, положением, уважением, за манной небесной. Нам кажется *summit bonum*⁶ получать, ничего не отдавая взамен. В нашей речи то и дело встречается прелюбопытнейший филологический феномен «Заебись!». Как будто можно трахаться, не отдаваясь. Постель стала считаться чем-то вроде окошка кассы: постучал – получил. Идиотская похвальба: «Ну и впарил я ей!» – отодвигает взаимную суть полученного. Никто – ни Он, ни Она – не может похвастаться тем, что осчастливил кого-то хорошей еблей, если сам не был оттрахан как следует. Иначе – все равно что говорить, будто отгымел мешок зерна. А ведь так обычно и случается. Заходишь в мясную лавку с куском пиздятины и просишь перемолоть его помельче. Некоторым безумцам хватает наглости требовать при том отборный филей, тогда как на самом деле с них довольно и фарша.

Туда-сюда-обратно! Не такой уж это простой досуг, как можно было бы подумать. Часто пытаются представить, как занимались любовью наши первобытные предки. Некоторые засматриваются на животных. (Домашних, домашних.) Освоив два-три приема, невежды начинают считать, что постигли эту, на их взгляд нехитрую, науку в совершенстве. Порой, после долгих лет якобы нормальной половой жизни, муж и жена начинают искать разнообразия. Они вдруг меняют партнера. Порой – на ночь, порой – навсегда. Случайный попутчик может поведать множество прелюбопытных легенд о любовных мистериях и подвигах, сопряженных со сложнейшими обрядами и ритуалами. Мастера любви проходят суровую школу духовного ученичества. Ключ к их мастерству – самодисциплина. Дух сильнее плоти. В этом смысле служители Господа оказываются в более выигрышном положении, нежели гладиаторы.

Молодости не доступна роскошь долгих, зачастую бесплодных, метафизических раздумий. Безусых юнцов бесцеремонно выпихивают в жизнь, взваливают на них ответственность, лишая возможности осознать себя, сравнить с теми, кто уже ломал голову над вечными проблемами. Вынырнув преждевременно, я быстро понял свою ошибку и, побарахтавшись немного, решил дать себе передышку. Сбросив ярмо, навешенное насильно, я попытался зажить нормальной жизнью. Не вышло. Оказавшись ни с чем, я вернулся в объятия женщины, которую безуспешно пытался бросить.

Эту нескончаемую зиму я провел на дне глубокой ямы, которую сам себе вырыл. Я, как медведь, впал в спячку. И во сне продолжал решать мировые проблемы, теснившиеся в моей голове.

Из окон квартиры, где я жил с любовницей, была видна спальня той, которую я боготворил, которой клялся в вечной любви. Она вышла замуж, родила ребенка. Я не знал, что она живет в том же дворе, что и я. Мне было невдомек, что это *ее* силуэт постоянно маячил у меня перед глазами и наводил черную тоску. Если бы я знал!.. Я бы вынес любую пытку за возможность хоть изредка видеть ее в оконном проеме. Но, увы! ни разу во время тех мучительных бдений не снизошло на меня озарение, что она там, что мне стоит только кинуть камушек в ее окно, только руку протянуть... Только лишь! Если бы в те минуты, когда я шептал в пустоту ее имя, я догадался открыть окно. Она бы услышала! Откликнулась!

Ложась в постель с другой, я до утра не смыкал глаз, с замирающим сердцем думая о той, которая была потеряна для меня. Обессиленный, я проваливался обратно в свою яму. Какой отвратительный способ самоубийства! Я губил не только себя и терзавшую меня любовь, я крушил все, что попадалось на моем пути, я походя ломал жизнь женщины,

⁶ Высшим благом (*лат.*).

так отчаянно льнувшей ко мне во сне. Я считал своим долгом уничтожить мир, жертвой которого стал сам. Я уподобился безумцу, который, размахивая над головой ржавым топором, без разбору крушит все вокруг. И все это – в дурмане сонного беспмятства.

Неужели все это натворил я? Не может быть! Мною овладел злобный дух из бездны. Но кем бы и чем бы я ни стал, я, а не кто-то другой, совершал бессмысленные убийства. Бессмысленные и беспрепятственные. Даже наяву я порой ловил себя на этом!

Сейчас мне самому с трудом верится, что каждый божий день я, как зомби, выходил из дома в надежде заработать немного денег. Иногда мне везло. С наступлением сумерек я неизменно возвращался в свою берлогу. Рядом с той женщиной меня охватывало тоскливое смирение. Боевая готовность ее алчно разверстого межножья сводила меня с ума. Как чашечка цветка перед закатом, она грозила захлопнуться, поглотив меня без остатка.

Этому мучению не было конца. Я не подозревал, что время может быть таким невыносимо тягучим. Пятиминутные интервалы тянулись настолько болезненно, что я боялся сойти с ума. Опутанный невидимой липкой паутиной, не в состоянии издать ни звука, я обреченно отсчитывал минуты; миллионы моих «я», лишенных права голоса, пытались разорвать незримую сеть. Каждый задушенный порыв стремился вернуться к своему таинственному источнику, чтобы принять форму, обрасти призрачной плотью, стать демоническим существом, кошмарным ожившим гомункулом. Борьба этих моих «я», заточенных в теле лунатика, приобретала неимоверный размах. Когда я выходил на улицу, они густым облаком обступали меня, я барахтался в тягучей эктоплазме, сотканной из моего собственного дыхания. Во время совокупления они с силой извергались из меня со звуком, напоминающим шум спускающейся воды в сортире. Открывая по утрам глаза, я ощущал назойливое присутствие моих мучителей, с гомоном роящихся надо мной.

Мне оставался единственный выход: прекратить существовать как личность. Другими словами, убежать от самого себя. Мне казалось, так я убегу и от нее. Я сказал, что неотложные дела срочно призывают меня на Аляску, и... переехал в соседний квартал. Мой переезд и впрямь смахивал на скоропостижное исчезновение. Я ушел в глубокое подполье. Никуда не выходил, ни с кем не общался, не прикасался к пище, словно начисто позабыл о еде, свежем воздухе, солнечном свете, человеческих отношениях.

В этом импровизированном гробу я подружился с духами земли. Я понял, что проблемы, издавна отнесенные мною в смутную даль, словно сонные цепелины, имели на деле подземную природу. Я вел оживленные беседы с бессмертными Ницше, Эмерсоном, Торо, Уитменом, Фабром, Хэвлоком Эллисом, Метерлинком, Стриндбергом, Достоевским, Горьким, Толстым, Верхарном, Бергсоном, Гербертом Спенсером. Я понимал их язык. Я оказался среди своих. Подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть, – зачем мне это? У меня в руках был весь мир. Но, словно одинокий кладоискатель, случайно наткнувшийся на золотую жилу, я метался среди своих новообретенных сокровищ, стараясь уместить их в пригоршни и вынести на свет, к людям. Я должен был убедить своих собратьев в существовании бесценных россыпей, убедить их спуститься со мной. Я должен был поделиться своим богатством.

Попытка обнародовать мое открытие натолкнулась на препятствия столь значительные, что я чуть не позабыл, зачем вообще выбрался наверх. Скептики обрушили на меня лавину насмешек, решив, что я свихнулся. Труднее всего оказалось с теми, кого я считал своими единомышленниками и лучшими друзьями. Случайный собеседник порой терпеливо выслушивал мои лихорадочные речи, но этим обычно и заканчивалось. Я в очередной раз казался себе провозвестником другого мира, глашатаем, чья миссия заключалась в том, чтобы устанавливать сиюминутный контакт, своего рода короткое замыкание, для того лишь, чтобы сохранить крохотную искорку истины.

Созрев наконец для очередной любви, я был так измотан и душевно опустошен, что представлял собой легкую добычу. Неожиданно для самого себя я увлекся музыкой. Стоило чарующим звукам коснуться моего слуха, как меня охватывал трепет. Моя душа словно погрузилась в турецкие бани. Всю метафизику выпарило без следа. Заодно я стряхнул с себя ошметки омертвевшей плоти.

Тут-то война полов и разыгралась не на шутку. Музыкальный дар моей новообретенной спутницы, поначалу так меня манивший, быстро отошел на второй план. Заветная щелка этой похотливой, истеричной суки, корчившей из себя недотрогу, скрывалась под спутанным клубком шерсти, неудержимо напоминавшим спорран⁷. Черт меня дернул потянуться к ней в самом начале нашего романа. Она грелась у батареи, небрежно накинув шелковый пеньюар, под которым ничего не было. Мохнатый кустик топорщился так, словно под халатиком она сжимала между ног кочан капусты. К вящему ужасу дамы, я без долгих предисловий хищно нацелился на ее сокровище. Это привело ее в такое смятение, что она лишилась дара речи. Испугавшись, что она вот-вот лишится чувств, я почел за лучшее спешно ретироваться. Схватив шляпу и пальто, я выскочил в коридор и сбежал по лестнице. У выхода она догнала меня; ей хотелось сгладить неловкость, вызванную моей бесцеремонностью. Она нервно вздрагивала, не успев оправиться от пережитого шока. В неверном свете газовой горелки я обнял ее, желая только одного: чтобы она наконец успокоилась. Она нежно прильнула ко мне. Я вздохнул с облегчением, решив, что через пару минут мы окажемся в ее уютной чистенькой комнатке и займемся любовью. Как бы невзначай я распахнул пальто, расстегнул брюки и нежно сомкнул пальцы ее руки на моей игрушке. Лучше бы я этого не делал! Она отдернула руку и залилась слезами. Я пулей выскочил на улицу. На следующий день мне принесли письмо, в котором она сухо выражала надежду на то, что мы больше не увидимся.

Однако я вернулся. И застал знакомую картину «Дама в пеньюаре у батареи». На этот раз я проявил больше такта. Как бы невзначай запустил пальцы под тонкую ткань. Мне показалось, что я прикоснулся к оголенному проводу. Взъерошенная шерстка торчала в разные стороны, словно новая мочалка из густой щетины. Не моргнув глазом, я понес какую-то чушь, следя однако за тем, чтобы не возникало пауз. Разговор шел о музыке и прочих высоких материях, я тем временем рассеянно перебирал курчавые волоски ее сокровища. Мне казалось, что эта незамысловатая уловка должна усыпить ее подозрительность и убедить в невинности моей игры. Мы перебрались на кухню, где мне продемонстрировали некоторые трюки, усвоенные во время пребывания в пансионе, где юных барышень должны готовить к жизни, в том числе обучать музыке и хорошим манерам. Акробатические упражнения, зрителем которых мне посчастливилось стать, имели единственную цель, а именно максимально подчеркнуть достоинства ее фигуры. Распахнувшиеся полы пеньюара явили моему восхищенному взору густую растительность, составлявшую главный предмет тайной гордости. Тут было чем гордиться. Все это выглядело невероятно аппетитно, если не сказать больше.

Через несколько недель пали последние бастионы сопротивления. Но она оставалась верной себе, упрямо продолжая цепляться за свои нелепые принципы. Уступив настойчивым домогательствам, она тем не менее потребовала, чтобы сношение происходило через ткань пеньюара. К страху забеременеть примешивалось желание испытать меня. Ей казалось, что если я соглашусь плясать под ее дудку и начну потакать ее идиотским капризам, то она сможет мне доверять. Непостижимая логика!

⁷ Кожаная сумка с мехом – часть костюма шотландского горца. (Здесь и далее, если не оговорено особо, примеч. перев.)

Ее превращение в нормального человека проходило мучительно долго. Днем я забегал якобы для того, чтобы послушать ее игру. О том, чтобы с порога стиснуть ее в объятиях, не было и речи. Но если я скромно садился в угол и почтительно внимал льющим звукам, то музыка внезапно обрывалась и исполнительница внезапно оказывалась возле меня. Мои нетерпеливые пальцы не встречали сопротивления, скользя вверх по округлостям ее бедер. Пара мгновений – и прекрасная наездница уже сидела на мне верхом. При оргазме с ней иногда случалась истерика. Секс среди бела дня казался ей греховным. Он, видите ли, плохо сказывался на технике игры. В общем, чем лучше мы проводили время, тем хуже она чувствовала себя после. «Тебе нет до меня никакого дела. Тебе лишь бы потрахаться». Твердя одно и то же, она добилась того, что так и случилось. Когда мы все-таки поженились, я был сыт ею по горло.

Спустя несколько месяцев после свадьбы к нам приехала погостить ее мать. Жена не пожалела черной краски, рассказывая о родительнице. В их отношениях не было ни намек на нежность и теплоту. С матерью появился пудель, птичья клетка и пара внушительных чемоданов. Однако, вопреки моим опасениям, мы на удивление легко поладили. В свои годы эта женщина сохранила былую привлекательность, которую не портила даже весьма заметная полнота. Нравом она обладала жизнерадостным и приветливым. Недостаток ума с лихвой заменяли чутье и интуиция. Я с умилением слушал, как она мурлычет что-то себе под нос, хлопоча по хозяйству. Она была естественна. Что до недостатков, так у кого их нет! В общем, мы без труда нашли общий язык, но это сильно осложнило мою семейную жизнь.

Прощаясь, теща заставила нас пообещать, что мы не станем тянуть с ответным визитом. «Надо же вам где-то провести медовый месяц», – весело заявила она.

Мысль об отпуске необычайно воодушевила меня. Но, хорошо изучив характер жены, я решил сделать вид, что мне все равно.

Сия тактика возымела успех, и в конце концов мне оставалось сделать вид, что я поддался на уговоры моей половины съездить проветриться.

Родительское гнездо напоминало кукольный домик: в нем все дышало чистотой и уютом, искрилось весельем и жизнерадостностью. Я пришел в восторг от городка и его радушных обитателей. С отцом жены, человеком бесхитростным и добродушным, мы быстро нашли общий язык.

Медовый месяц сулил немало приятных минут.

По утрам мы подолгу валялись в постели, из распахнутых окон лился солнечный свет, в небе разливались птичьи трели, цветы пьянили своим ароматом, а с кухни доносилось веселое шипение жарящейся яичницы. От ревности, невольно вызванной приездом тещи, не осталось и следа. Я не узнавал свою жену. Она с такой страстью предавалась любовным утехам, словно сам факт пребывания под отчим кровом даровал ей долгожданное ощущение вседозволенности. Ханжа и лицемерка, она, казалось, наверстывала упущенное. Подозреваю, что такой пылкости я был обязан детскому желанию доказать всем, и в первую очередь собственной матери, что она даст сто очков вперед любой представительнице прекрасного пола. Она даже пыталась заигрывать с мамашиними поклонниками, хотя той стоило лишь подать знак, как они забывали обо всем на свете, включая мою жену. Похоже, она забыла, какими глазами я сам смотрел на ее мать. С беспечностью, граничившей с глупостью, она все чаще уходила гулять по городу, оставляя нас наедине.

Вскоре последовала неминуемая развязка. Как-то в очередной раз жена, по обыкновению, удалилась, а мамаше приспичило принять ванну. Я сидел в гостиной в пижаме, лениво листая утренние газеты. Горячий прозрачный воздух подрагивал от птичьего гвалта. Сквозь журчание воды пробивалось насвистыванье, и я различил протяжную негритянскую мелодию, от которой моя кровь побежала быстрее. Мысли устремились по хорошо знако-

тому руслу. Сердце сладко защемило в преддверии неизбежного. До меня не сразу дошло, что меня зовут. Она забыла полотенце и теперь просила меня его принести. Я бросился в ванную, тщательно вытер аппетитную купальщицу с головы до ног, подхватил на руки и отнес в спальню. Слов нет, она была чертовски хороша!

Медовый месяц стремительно набирал обороты. Я прилежно трудился день и ночь, как пчела, собирая нектар со всех цветков. Ночью – дочка, днем – мама. О чем еще можно мечтать! Но в какой-то момент жена заподозрила неладное и засобиралась домой. Понятно, такой оборот не вызвал у меня ни малейшего энтузиазма. Мой отказ был встречен в штыки, начались бесконечные ссоры и выяснение отношений.

Чаша терпения обоих в какой-то момент переполнилась, и, устав от взаимных упреков, мы решили разойтись. Выйдя из дома, мы дошли до конца квартала, простились и пошли в разные стороны.

Прошло несколько дней. Я бесцельно слонялся по улицам и вдруг наткнулся на нее. Слезы брызнули у нее из глаз, и она принялась обвинять меня в том, что я никогда, никогда не любил ее. Не давая мне опомниться, она потащила меня туда, где теперь снимала комнату. Нужно все обсудить, заявила она таким тоном, словно от этого зависела ее жизнь. Чувствуя себя последней скотиной, я малодушно пошел у нее на поводу. При этом я прекрасно понимал, что толку в этом никакого.

К моему удивлению, она ни словом не обмолвилась о матери; она говорила только о себе, о своей неудавшейся жизни, о том, что никто ее не понимает. Мужчинам подавай только секс, а ей так хочется любви. На этой патетической ноте мы неожиданно оказались в объятиях друг друга, и между нами завязалась жаркая схватка. Когда все закончилось, мы остались обессиленно лежать на поле боя, то есть под столом. Ее глаза покраснели и опухли, волосы растрепались. Она напомнила мне героиню древнегреческой трагедии. Как всегда, не обошлось без истерики. Мир ужасен, мужчины одинаковы и так далее. Она пристала ко мне, требуя, чтобы я наконец выложил начистоту, считаю ли ее испорченной, порочной, как она выразилась, или нет. В ее устах эти слова прозвучали так нелепо, что я не сразу нашелся с ответом. Тут она перевела разговор на свою мать, жалуясь на то, что всегда боялась стать на нее похожей. Я должен был согласиться, что ей досталась развратная мать, а мне, соответственно, такая же теща. Меня заставили поклясться, что я не буду искать встреч с новообретенной родственницей, что я с легкостью и сделал. В общем, утешил как сумел.

Дома выяснилось, что она беременна. Это открытие повергло ее в тяжкую депрессию. Детей она не хотела, по крайней мере сейчас. Делать аборт боялась. Ее охватила паника.

Исчерпав скудный запас приличествующих случаю предложений, я посоветовал жене обратиться за помощью к кузине, к которой, как-то мельком увидев, успел проникнуться симпатией. Кузину звали Алисой, и она показалась мне весьма здравомыслящей особой. Жена, правда, утверждала обратное, намекая на пресловутую «испорченность». Но щекотливость ситуации заставила ее несколько умерить свой гонор.

Алиса не заставила себя дважды упрашивать. Она тут же примчалась, захватив коробку больших черных пилюль, доставшихся ей, видимо, еще от бабки. Кроме них, полагались горчичные ванны и тэ дэ и тэ пэ.

Стоял душный летний вечер. В сумерках белели наши полураздетые тела. Мы втроем пили пиво и хихикали над создавшейся ситуацией. От теплого напитка Алиса захмелела и на глазах у изумленной публики залезла ко мне на колени и стала жадно целовать. Дело принимало нежелательный оборот. Я воззвал к жене о спасении.

Когда Алиса наконец впала в пьяное забытие, моя жена была уже готова ее задушить. Разъяренная, супруга наотрез отказалась принимать принесенные кузиной пилюли.

Семейная жизнь дала трещину. Отношения стремительно ухудшались. То, что не заладилось с самого начала, обречено на неудачу. Попытки исправить ситуацию заканчивались очередным скандалом. Жена считала, что все вокруг только и заняты тем, что строят козни у нее за спиной. Ее спесь вкупе с невероятной подозрительностью лишь раззадоривали меня. Она не сводила с меня глаз, даже когда я выкатывал коляску, чтобы погулять с ребенком. Справедливости ради надо признать, что у нее были веские основания для подозрений. Нередко я сбегал из дома под предлогом прогулки с малышом, а сам отправлялся на свидание с очередной подружкой жены. Мы оставляли коляску у первого попавшегося подъезда и устраивались под лестницей, перепахнуться по-быстрому. Или, когда собирались гости, я наметанным глазом определял очередную жертву, потом, как образцовый муж, вызывался сбежать в магазин и приглашал приглянувшуюся мне гостью составить мне компанию. По дороге я прислонял ее к какой-нибудь стенке и засаживал встояка. Если бы однажды жена не застала меня с расстегнутыми брюками, боюсь, я бы совсем свел бедняжку с ума. Признаюсь, я вел себя возмутительно, но что мне оставалось делать! Навязав мне роль злодея, она провоцировала меня.

При желании она умела быть невероятно обольстительной. Я по сей день считаю, что в ней погибла гениальная стриптизерша. После развода, когда я раз в неделю заносил алименты, она выглядела еще аппетитнее. Каждый раз, якобы случайно, она встречала меня в полуодетом виде, – то собираясь принять ванну, то выходя из душа в ничего не скрывающем кимоно, – и по-кошачьи уютно устраивалась на диване.

После развода наши отношения заметно улучшились. Скандалы и взаимные упреки остались в прошлом. У нее обнаружилось чувство юмора, немало поспособствовавшее воскрешению былой приязни. Между нами установилось что-то вроде перемирия. Со стороны мы были похожи на влюбленных. С той только разницей, что, когда я ухаживал за ней, она корчила из себя недотрогу, а теперь умело сдерживала клокотавшую в ней страсть. Она больше не шарахалась в ужасе, когда как бы случайно прикасалась к моей готовой лопнуть от напряжения ширинке. Бог знает, как у нее это получалось, но, игриво стискивая мой член с видом одновременно жадным и рассеянным, она жеманно надувала губки и капризным ломким голосом предупреждала, чтобы я ни на что не рассчитывал. Ей хотелось, чтобы я на коленях вымаливал позволения припасть к ее прелестям, тогда она могла бы позволить мне некоторые вольности, иначе, считала она, я не имел права ни на что рассчитывать. Приличия превыше всего! Изволь соблюсти этикет, а уж потом пускайся во все тяжкие! А то ишь чего удумал, обращаться с ней как с какой-нибудь шлюшкой лишь потому, что нас когда-то угораздило пожениться.

От долгого и насыщенного флирта мы незаметно переходили к более скрупулезным исследованиям. Я мог обнаружить некую припухлость на бедре, которой требовался тщательный осмотр, или следовало с пристрастием изучить ее несколько раздавшуюся попку, состоящую, как известно, из довольно увесистых половинок, – да мало ли что придет в голову, лишь бы осмотр затянулся подольше, лишь бы нашелся для нее новый повод залиться пунцовым румянцем, не важно – напускным или естественным. Я, как минер, рассчитывал каждый взгляд, каждое движение. Было что-то ритуальное в том, как я примерял к руке внушительную плоть бывшей супруги. Если наши представления о должной степени пиетета, с которым я ласкал ее, совпадали, то подол пеньюара слегка приподнимался и мои пальцы беспрепятственно скользили к заветной цели вверх по округлым, крутым бедрам. Но если я увлекался и начинал торопить события, переходя к более активным действиям, то занавес опускался на целый день.

Как все это было мучительно, дразняще и развратно! К тому же не забывайте, что в любой момент наши утехы могли быть прерваны появлением ребенка, ради которого я, собственно, и приходил. Нечистоплотность искустельницы придавала всей ситу-

ации дополнительную пикантность. Ладно бы супружница вертела передо мной задницей исключительно из любви к искусству, но она при этом манипулировала моими отцовскими чувствами. Я разрывался между ребенком и обворожительной пушистой щелкой, бесстыдно выставляемой напоказ.

Тяжелее всего проходило расставание. Своим уходом я каждый раз выбивал почву у нее из-под ног. Оборачиваясь в дверях, я читал в ее глазах готовность начать все сначала. Несмотря ни на что, ее не оставляла призрачная надежда, что я брошу другую и мы опять будем вместе. Нас по-прежнему влекло друг к другу, и это лишь усугубляло ее смятение. Мы испуленно целовались в крошечной темноте коридора. В этот миг она была готова на все, кроме того, чтобы раздвинуть-таки ноги. Время в испуге замирало, когда мы, хрипло задыхаясь, чуть не пережевывая друг друга, сливались в жарких объятиях. После, бывало, она с преувеличенной заботливостью предлагала мне помыться. Ты ведь не хочешь, говорила она, чтобы та, другая, что-то заподозрила... Стоя рядом у раковины, она хищно следила за моими движениями, норовя исподтишка дотронуться до моего пальто дрожащими пальцами.

Во время очередного – и последнего! – затяжного раунда долго сдерживаемое напряжение прорвалось наружу. Она разрыдалась, резко оттолкнула меня, метнулась из коридора в комнату и в слезах рухнула на пол. Я словно окаменел, ее рыдания сводили меня с ума, но я не мог сделать ни шагу. Я проклинал себя за малодушие, толкавшее меня к ней, я был готов согласиться на все, что угодно, лишь бы не слышать этих безутешных рыданий. Несколько мгновений я позорно колебался, но, слава богу, инстинкт самосохранения одержал верх.

Вот же мука мученическая!

Она слишком хорошо знала мои уязвимые места и прибегла к последнему испытанному средству, чтобы удержать меня. Она была уверена, что в такой момент я не брошу ее. Но, увы, просчиталась.

Вперед, сказал я себе. Беги, иначе все пропало!

С этим напутствием самому себе я дал деру. Я не оглядывался из боязни обнаружить погоню. Я бежал, и слезы застилали мне глаза.

Очувтившись у своего порога, я почувствовал, как слезы вновь заструились по моему лицу. Но это были слезы не бессилия, но радости. Радости, что я наконец-то нашел ту, которую люблю. Радости, что начинается новая жизнь. Образ бьющегося в истерике, скорчившегося на полу существа постепенно бледнел и уходил в прошлое. Прошлое, от которого меня отделяли миллионы лет. Я думал только о той, которая ждала меня.

Встретив на тротуаре цветочницу, я задумался, не купить ли букет фиалок.

Поднимаясь по ступенькам, я твердил себе: «Больше никогда! Никогда!»

Открыв дверь, я позвал ее. Тишина. На столике горела лампа. Под ней лежал небольшой листок бумаги. Я понял, что дело плохо.

И оказался прав. В записке лаконично говорилось, что она больше не в силах здесь оставаться. Я не должен преследовать ее. Она вернется, как только ей достанет мужества. Ни упреков, ни сожалений.

Я упал в кресло, комкая записку. Странно, но я ничего не чувствовал. Уставившись в стену, я не мог шевельнуться. Время, казалось, споткнулось и застыло. У меня не осталось ничего: ни воли, ни мыслей, ни слез.

Очнувшись, я почувствовал чье-то присутствие и осторожно перевел взгляд со стены на дверь. Она стояла, прислонившись к дверному косяку. Время по-прежнему стояло на месте. Она сжимала ручку двери и неотрывно вглядывалась в меня, словно хотела запомнить этот миг на всю жизнь. Потом сорвалась с места и бросилась ко мне.

Слова здесь бессильны! Мы просто смотрели друг на друга. Это было самое красноречивое молчание в моей жизни. То, что отказывался произнести наш язык, было высказано в лихорадочном диалоге двух пар глаз.

Если бы историю можно было повернуть вспять, все повторилось бы вновь: мы одни на всем белом свете и не можем оторвать глаз друг от друга.

Париж – это вам не Америка. На каждом шагу попадались парочки. Вкусная еда, хорошее вино, мягкие постели. Бульвары, кафе, рынки, парки, мосты, книжные развалы. А разговоры! А лавочки, приглашающе расставленные на каждом углу! Времени – навалом! Хочешь спи, хочешь мечтай...

Стоит только оказаться в этом городе, как тебя настигает витающая в воздухе чувственность. Куда бы ни шел, что бы ни делал, ты постоянно находишься в ее сладком плену. Женщины повсюду, словно цветы... Совсем как в былые времена. Голову кружат дурманящие запахи, ты срастаешься с этим городом, пускаешь корни, ты счастлив...

Вовсю предаваясь в Париже распушенности, американцы в то же время ни на секунду не позволяют себе расслабиться. Они таскают за собой свои комплексы, как черепаха панцирь. Диву даешься, слушая их разглагольствования о француженках. Все они, мол, в душе шлюхи. Слепцы! Какое дремучее заблуждение – ставить знак равенства между сексом и любовью!

Француз, сдуру влюбившемуся в уличную девку, будет глубоко плевать, как отнесутся к этому окружающие. Потом, в конечном итоге, он, может, и рехнется, но Мсье и Мистер видят эту ситуацию совершенно по-разному. Если уж ехать крышей, то только из-за любви, а никак не из-за утомительных переживаний по поводу морали и нравственности. Американец же идет к женщине, чтобы расслабиться, чтобы хоть ненадолго избавиться от своей внутренней несвободы. В женщине он видит лишь сосуд для облегчения изголодавшихся самцов. С прекраснейшей из фемин он будет обращаться как с проституткой и потеряет голову от ничтожной смазливой пустышки. Пойдя на поводу своей сентиментальности, он воздаст королевские почести первой попавшейся шлюхе, забыв о ее триппере. Но не дай бог заподозрить в нем романтика! Он ошестинится как еж, стоит лишь намекнуть, что и он может потерять голову от любви. Его соотечественницы томятся от нерастратченного любовного пыла и требуют невозможного. А мужики их надрываются на службе ради удовлетворения минутных бабских прихотей. Американке дай только волю, и она пустится во все тяжкие.

Страждущим американкам в Париже раздолье, как течным кошкам. В поисках большого и светлого чувства они кочуют из постели в постель. Связь с иностранцами придает большую остроту восхитительному блюду, прежде не испробованному. Иллюзия любви вполне устраивает обе стороны. Я знал в Париже одну оперную певицу, которая, приехав из Штатов, влюбилась в юного турка. Она понимала, что он спит с ней ради денег ее мужа, но ей нравилось, как он ведет себя в постели, когда они занимались любовью. Муж, по ее словам, был добрым и заботливым человеком, но, увы, весьма посредственным, если не сказать никудышным, любовником. Он не был импотентом, его нельзя было обвинить в безразличии. Он по-своему любил ее и в простоте душевной наивно верил во взаимность с ее стороны. Он не мог не понимать, что гонит ее за границу дважды в год, но предпочитал не вдаваться в тонкости.

Такое поведение иногда называют тактичностью. А как по мне, он заурядный сутенерствующий мерзавец. Что бы ни говорилось о жене подобного субъекта, я, со своей стороны, могу лишь глубоко посочувствовать ей. Женщины так устроены, что им необходимо кому-то принадлежать. Иное дело мужчины! Они трепетно копаются в мелочах, не видя за ними главного, и так во всем, что ни возьми: любовь, секс, политика, искусство, религия. Список можно продолжать бесконечно. Мужчина – это вечный путаник, тогда как жен-

щина – существо более цельное. Она ему нужна хотя бы для того, чтобы прочистить ему мозги. Порой для этого достаточно одного доброго незамысловатого переписка. Да, иногда постель – вполне подходящее место, где можно переложить часть своей ответственности за судьбу человечества на другие плечи. У мужчин взгляд на мир обстоятельный и деловой. Страдания и переживания считаются уделом слабого пола. Мужчины стремятся к чему-то возвышенному, не замечая того, что происходит под носом. Они наивно полагают, что когда приходит Любовь, то непременно вырастают крылья, появляется желание носить предмет своей страсти на руках, а в противном случае это не любовь. Всерьез их заботят только те драмы, которые разворачиваются исключительно на подмостках мироздания.

Драма партнерства едина для всех; однако в мужском сознании она наполняется смыслом только после того, как прозвучит слово «развод». Даже если ему удастся достойно выдержать этот удар, то в дальнейшем он наверняка будет рисовать институт брака в самых мрачных тонах. Личную неудачу он раздует в мировую проблему. Если пострадавшей стороной окажется женщина, он все равно будет упорно настаивать, что в ней корень всех его бед, и обвинять в непонимании его тонкой и ранимой душевной организации. Мужчинам свойственно валить свои несчастья на пороки экономического и общественного строя. Как ни обидно, но счастливых, обладающих даром воспринимать отношения с противоположным полом как борьбу творческих начал, можно перечесть по пальцам. (Хотя что может быть прекрасней круга, в котором есть только инь и ян!) Любовь – магнит, притягивающий разные полюса. Но кто знает, что удерживает их рядом друг с другом. Любовь, мол, заботится о себе сама. Например, умирает.

Другое дело – изгои, отверженные любовью. Они вечно слоняются по воскресным бульварам. Вид их почему-то наводит на мысль о консервных банках, привязанных жестокими детьми к многострадальным кошачьим хвостам.

Любовь – это драма завершения, единения. Беспредельная и адресованная тебе лично, любовь освобождает от тирании эго. Секс же безлик, его можно отождествлять, а можно и не отождествлять с любовью. Секс может разжечь и укрепить любовь, а может ее разрушить.

Тоньше всех понимали силу секса язычники, троглодиты и верующие. Первые возвеличивали его в эстетическом смысле, вторые – в магическом, третьи – в духовном. В нашем же мире, где уровень развития ненамного превысил животный, секс лишается всякого контекста.

Стирается разница полов, мы становимся одинаковыми или, точнее, никакими. О чем красноречиво свидетельствуют захлестывающие нас волны чудовищных преступлений и изощренных злодейств. С точки зрения психопатологии убийца как личность – это искореженная, прогнившая ветвь вырождающегося людского племени. Прелесть общения для этого выроodka заключается единственно в кровопролитии.

Нас окружают убийцы всех сортов. Преступник, осужденный на казнь на электрическом стуле, – лишь передовой разведчик ширящейся, подступающей орды кошмарных выроdkов. В некотором смысле все мы убийцы. Весь наш образ жизни есть не что иное, как истребление друг друга. Наша цивилизация – единственная, где все поголовно помешаны на безопасности и где жизнь просто кишит опасностями. Чтобы защитить себя, мы изобретаем мощнейшие орудия разрушения, которые бумерангом возвращаются к своим создателям. Люди перестали верить в любовь – единственную надежную, заслуживающую доверия силу. Не верят соседям, не верят себе, не говоря уже о Всевышнем. Махровым цветом цветут страх, зависть, подозрительность. Губя других, мы губим себя. *Ergo*, да ебьтесь вы до посинения, пока еще не поздно!

Кого-то секс приводит к просветлению, для других это – прямая дорога в ад. В этом отношении он ничем не отличается от прочих вещей в жизни: все зависит от точки зрения.

Чтобы жизнь стала лучше, ей надо радоваться, как радуются празднику или чуду. Сексуальные неудачи говорят о том, что что-то сломалось, разладилось в нашем отношении ко всему остальному – к горбушке хлеба, деньгам, работе, игре, ко всему на свете. Тщетно искать наслаждения в любовной игре, когда в самом себе сумятица и неразбериха – короча, бардак.

Трудно, до нелепости трудно убедить морального урода в том, что главное в жизни – это *самовыражение*. Без цели, без оправдания, просто *самовыражение*. Хочется заставить его сделать хоть что-нибудь, что угодно, что приблизит его к самоосвобождению. Сколько уже раз нам твердили, будто нет ничего, что было бы дурным, неверным само по себе? Извечная боязнь совершить ошибку – вот что дурно. К чему, мол, сеять поле, раз его склюют птицы?

Нами движет страх. Мы – марионетки, он – кукловод. Мы боимся даже радоваться, боимся наслаждаться. Но кого считают героем? В первую очередь того, кто преодолел свой страх. Герой может возникнуть где угодно. Его ни с кем не спутаешь. Его единственное достоинство – гармония с окружающим миром и самим собой. Не забивая голову пустыми сомнениями и терзаниями, он идет, не разбирая дороги, никуда не сворачивая, подгоняя жизнь и стараясь обогнать ее. Трус, *par contre*⁸, пытается повернуть жизнь вспять. Но это гол, забитый в собственные ворота. А жизнь катится себе вперед, и ей глубоко безразличны и наша трусость, и наш героизм. Жизнь не навязывает никаких порядков, не требует от нас ничего, кроме одного: чтобы мы беспрекословно признали жизнь. Все, на что мы закрываем глаза, от чего пытаемся убежать, заслониться, все, что отрицаем, на что клеваем, что пытаемся очернить, отринуть, в конце концов поборет нас. То, что кажется отвратительным, мерзким, паскудным, однажды может превратиться в источник красоты, радости и силы, если мы избавимся от предвзятости. Каждое мгновение драгоценно, надо только суметь разглядеть его. Жизнь происходит каждую секунду, невзирая на то что мир полон смерти. Смерть существует только в угоду жизни.

Читающему мои книги – чисто автобиографические – следует иметь в виду, что одной ногой я давно стою в прошлом. Рассказывая свою жизнь, я часто грешу против хронологии событий, предпочитая движение по кругу или по спирали. Строгая линейность времени, когда эпизод чинно сменяется эпизодом, противна мне, ибо кажется грубой подделкой жизни и противоречит ее подлинному ритму. Случаи и случайности, из которых складывается жизнь, освещают нам путь к познанию себя. Всю жизнь я пытался хотя бы в общих чертах обрисовать жизнь человека «внутреннего», потенциального, который вечно сбивается с пути, плутает в себе самом, как в трех соснах, подолгу переживает полный штиль, погружается на самое дно или же тщетно пытается покорить одинокие безлюдные вершины. Я пытался уловить архиважные моменты, чреватые глубокими переменами и разрешившись от бремени. Человек, повествующий о том, что с ним происходило, уже не тот, каким он был, когда испытывал происходящее на собственной шкуре. При повторном переживании жизни неизбежны искажения. Однако в их основе лежит бессознательное стремление докопаться до внутренней, более правдивой правды. Так, я то и дело вроде бы ни с того ни с сего возвращаюсь к периоду, не только предшествующему, но, более того, никоим образом не связанному с описываемыми событиями. Озадаченный читатель может усмотреть в этих беспорядочных, хаотичных метаниях очередной каприз автора. Я не вижу в этом ничего зазорного. Для меня как для автора они имеют ту же *raison d'être*⁹, что и любой вымысел. Это просто некие приемы, копать в которых совершенно не продуктивно. Неожиданные зигзаги, долгое лирическое отступление в скобках, бредовый монолог, продолжительный экскурс,

⁸ Напротив (*фр.*).

⁹ Логику, смысл (*фр.*).

воспоминание, всплывающее, словно утес в тумане, – сама их спонтанность сводит на нет любые попытки интерпретации.

Нет проторенных дорог. Что подходит одному, неприемлемо для другого. Бывает, мы просто не успеваем сойти на *своей* остановке. Порой сбиваемся с пути и, взмыв ввысь, шелухой разлетаемся по ветру. Можно совершить грандиозное путешествие, не выходя из дома. За несколько минут некоторые умудряются прожить целую жизнь, которой с лихвой хватило бы на десятерых. Пока одни разрастаются, как грибы после дождя, другие прозябают в безнадежности, неспособные выскочить из колеи. Каждое мгновение невыразимо в своей уникальности. Ни одна, даже самая коротенькая история не бывает рассказана целиком.

Эта аура непостижимого, в которой происходит настоящая борьба, – она, и только она, захватывает меня целиком. Рассуждая о человеческих отношениях, событиях, мелких происшествиях, я не устаю призывать читателя внимательней приглядеться к тому темному таинственному царству, *без которого не могло бы произойти вообще ничего*. Смутные и неясные ощущения посещали меня и прежде, чем я впервые взялся за перо. Каждая человеческая жизнь по-своему интересна (какое убогое, пустое слово!), надо только не поленившись и постараться вникнуть в нее. Я обязан (еще одна словесная пустышка!) снова и снова повторять это, к вящей пользе своей и подобных мне. В конце концов, искусство рассказа есть всего лишь вид общения. Но вопреки – или благодаря – моей настойчивости и усердию, с моего пера на бумагу соскочила лишь пара-тройка нежизнеспособных уродцев, которые, к счастью, так никогда и не были напечатаны. Пока в период ученичества я постигал науку жизни, события накапливались, как снежный ком, и периодически обрушивались такой лавиной, что писатель во мне смог выгрести лишь чудом. Все написанное мною до «Тропика Козерога» было тщетными попытками приступить к давно откладываемой исповеди. Я казался себе кораблем, который сбился с курса и застрял во льдах.

Я всегда хотел написать одну-единственную книгу. План ее я наметил давным-давно, когда жизнь в очередной раз повернулась ко мне темной стороной. Эти заметки я пронес через бесконечную череду выпавших мне скитаний и блужданий. Самому не верится, сколько раз я оставался буквально ни с чем! Но я хранил верность своим воспоминаниям и сберег все до последнего листка. Хотя особой нужды, как оказалось, в этом не было. Все, что я пережил, сохранилось в памяти с такой отчетливостью, как если бы это случилось только что. Мельчайшие детали все до единой намертво отпечатались в моем воспаленном мозгу. Всю жизнь я писал одну-единственную книгу – и по большей части в собственной голове. Почти все уже нашло дорогу к читателю. Кроме заключительного тома. Эпилога. Я до сих пор не представляю, как будет выглядеть окончательный вариант этого пестрого сооружения.

Переживая все происходившее заново, и не один раз, я вижу, что ярче всего выделяются не сами события, а сиюминутные впечатления от них. Чей-то взгляд, случайный уголок, в который меня заносило судьбой, лица прохожих, порой навсегда поражающие своим необщим выраженьем. Летописец из меня никудышный, мне никогда не удавалась строгая последовательность событий, да я никогда и не преследовал такой цели. Я *наблюдатель*, и мои наблюдения носят, как и сама история, крайне сбивчивый характер. Каждый пишет собственную всемирную историю. Если бы кому-то пришло в голову сопоставить несколько исторических трактатов, принадлежащих разным авторам, то несчастный зашел бы в полный тупик из-за того, что история не ведает ни реальности, ни достоверности. Прошрое, личное ли, общественное ли, – непролазные джунгли. Взавшись его описывать, рискуешь заплутать в потемках.

Или взять, к примеру, биографии. Наши неисповедимые тернистые и извилистые пути образуют запутанный лабиринт. Мало кому удастся добраться до его сердцевины. А добрав-

шись, встретить Минотавра и, поразив чудовище, сгинуть самому. Искажение прошлого влечет за собой искажение будущего. Случившееся, равно как и *неслучившееся*, не задевает никаких струн в нашей душе, не угнетает и не трогает. Леденящие события прошлого в пересказе обращаются чем-то славным и радостным вроде успешной вылазки в сортир или полета на Луну. К чему тогда этот беспредметный разговор, к чему вообще слова, если они ничего не значат, спросите вы. Что толку сотрясать воздух пустой болтовней? Да потому, что сам процесс доставляет ни с чем не сравнимое наслаждение. Жить без книг, не иметь возможности читать и писать, обходиться без секса, без человеческого общения – так ли уж это ужасно? Даже писателю это по силам, если он умудрится найти общий язык с самим собой. К тому-то я и веду: я научился искусству дружить со своим «я». И мне пришлось по душе такая жизнь¹⁰.

У каждого свой путь, и каждый по-своему живописует картину мира. Мы бездумно плывем по течению, провожая рассеянным взглядом прихотливые картинки, меняющиеся, как в калейдоскопе. Мы тянем за собой в будущее мертвый груз прошлого. И так до тех пор, пока в один прекрасный день мы не повстречаем *ее*, свою единственную. Тогда нам кажется, что мир преобразился, как по мановению волшебной палочки. Но, скажите на милость, разве может мир перемениться в один миг? С каждым из нас такое случалось и ни на йоту не приблизило нас к истине. Нам суждено вечно стучаться в ее врата...

Однажды я увидел портрет Рубенса, написанный, когда он только-только женился. На картине изображены двое: прелестная юная жена сидит, а сам живописец стоит рядом. Я никогда не забуду тех эмоций, что пробудила во мне эта работа. Меня словно окатило волной неги и покоя. Рубенс находился в самом расцвете лет, энергия была из него ключом, и я ощущал ее физически. Лицо его очаровательной спутницы излучало безмятежное спокойствие и уверенность в гении своего мужа, которая зримо передавалась самому художнику. Картина казалась гимном семейному счастью. Не знаю, счастливо или нет сложилась их дальнейшая жизнь, но разве это важно? Мое воображение было поражено этим волнующим впечатлением. Впечатлением, которое навсегда останется жить в моей памяти.

Нечто подобное происходит и с моими произведениями. События, о которых я пишу, происходили со мной на самом деле. А если что-то осталось за скобками, значит там ему и место.

Порой ничем не приукрашенное изложение очередного сексуального опыта исполнено величайшего смысла. Ледяной огонь секса пылает в нас негасимым солнечным светом; он неистребим, как сама жизнь. Его нельзя потушить, потому что безыскусный рассказ о жарких объятиях может порой завести нас куда подальше эротического наслаждения, создать иллюзию безопасности, иллюзию, будто нам удалось, пусть на несколько мгновений – но зато каких! – скрыться от Всевидящего ока.

Если бы нас перестала сверлить постоянная мысль о таинственных силах, которые неусыпно следят за нами на земле и в небесах, разве стали бы мы задумываться о смерти? Если бы мы осознали, что и в смерти продолжается эта непрестанная слежка, не знающая ни жалости, ни пощады, продолжали бы мы и тогда окружать себя всевозможными запретами и табу? Древние боги сошли на землю, чтобы слиться с человеческим родом, с растениями и животными и с самими стихиями. Почему же мы постоянно держим себя за шиворот, не даем выхода своим чувствам, эмоциям, желаниям, инстинктам? Ради чего ограничиваем себя во всем? Из боязни потерять свое «я»? Но пока себя не потеряешь, бесполезно пытаться себя найти. Мы суть частица мироздания, но, чтобы стать с ним одним целым, надо сперва

¹⁰ «Бог – величайший отшельник, не общающийся ни с кем, кроме отшельников, и не соучаствующий ни с кем ни в своей мощи, ни в своей мудрости, ни в своем милосердии – во всем, что придает некую неповторимость его извечному одиночеству» (Леон Блуа). (Примеч. авт.)

затеряться и раствориться в нем. Не зря говорят: дорога в рай ведет через преисподнюю. Но какую бы тропу мы ни избрали, мы не придем к цели, с опаской оглядываясь на каждом шагу.

Для меня понятия секса и смерти неразделимы. Каждый раз, обращаясь к эпохам, когда Жизнь протекала наиболее бурно и полнокровно, я всегда спотыкался на Средневековье. История не знает другого, более яркого примера, когда бы Смерть столь яростно заявляла свои права, когда воздух дрожал от ее убийственного присутствия. За триста лет царствования Великой Чумы Европа чуть не вымерла. К чему это привело? С одной стороны, к всплеску иступленного религиозного фанатизма, с другой – к сексуальной революции. Греховные связи и не освященные браком соития! Любовники всех времен и народов отправились на штурм небес. Скажете, это *безнравственно*? Какое пустое слово! Человеческое сознание не может смириться с брэнностью плоти и постоянно ищет иной выход. В этой схватке со смертью никто не остается в стороне. «Для поэта пик наивысшего блаженства не в ослепительном свете божьем, но в непроглядном мраке страсти»¹¹. Порой вмешивается Жизнь, творя собственную поэму экстаза, подписанную лаконичным именем: Смерть.

В эпоху Ренессанса произошел небывалый взрыв. Микроб, частично обезвреженный стараниями средневековых апологетов религиозно-общинного образа жизни и загнанный вглубь общественного организма, разразился эпидемией, подарившей миру целую плеяду гениев. Все словно с ума посходили. Когда вглядываешься в портреты прославленных мужей той поры, этих чудовищ, порожденных церковью и государством, тебя невольно завораживает Зло, нагло и дьявольски ухмыляющееся тебе в лицо. В эпоху ядов убийство было нормой. Кровосмешение, особенно в высшем обществе, – чем-то само собой разумеющимся. Повсюду сверкали отравленные клинки. В Англии, незадолго до того, как сия великая эпоха окончательно уступила свои позиции, эта тема нашла яркое отражение в блистательной трагедии Джона Форда «Как жаль ее развратницей назвать». После этого красноречивого штриха личность эпохи Ренессанса испустила дух.

Сегодня личность как вид практически вымерла. Ей на смену пришел робот – конечный продукт индустриальных достижений нашего века. Человек превратился в винтик механизма, им самим созданного, и в результате этой метаморфозы утратил власть над своим творением. Бритый охранник с квадратным затылком, сидящий за пуленепробиваемыми стеклами хозяйского лимузина, олицетворяет эмоциональный вакуум, в котором совершаются убийства нынче. Мало поразить намеченную жертву: уничтожению подлежат все, кто вольно или невольно окажется на пути убийцы. Знал бы Форд, какие разительные перемены произошли с нашим сознанием! В его пьесе взмах кинжала лишил жизни несчастного бедолагу, которого приняли в темноте за другого. Эта сцена произвела эффект больший, чем все прочие убийства в пьесе, а было их немало. Бессмысленная смерть потрясала самых твердоголовых – потрясала своей бессмысленностью.

Целые народы выселяют с исконных мест или истребляют, а мир, бессильный вмешаться, в лучшем случае ужасается. Страдания миллионов трогают нас не более, чем пожар в зоопарке. Мир парализован страхом и ужасом. Первую скрипку играет существо, в котором Робот неумолимо одерживает верх над Человеком. Миссия этой счетной машины, дальнобойной и обожествляемой, судя по всему, низвержение того, что не способно низвергнуться само, а именно общества.

Ничто из того, что случится в ближайшие несколько лет, никоим образом меня не удивит. Европа, этот вечный театр военных действий, покажется райским уголком, когда на сцену, извергая проклятья и брызгая слюной, явится янки, дикарь и убийца, угрожающий сокрушить все вокруг. Когда плотину прорвет, а прорывает ее на глазах, ничто не сдержит

¹¹ Из монографии Дени де Ружмона «Любовь и Запад» (1940).

реку варварства и все окажется дозволено, сколь бы дьявольским или фантастичным – словом, недопустимым – оно ни казалось. Уже сейчас у американцев, особенно у тех, кто живет в больших городах, лица отмечены печатью порока. Стремясь укрыться от толпы и заходя в роскошные фойе кинотеатров – немногие места, где еще сохранилась возможность побыть наедине с самим собой и перевести дух, – я не переставал дивиться несоответствию между атмосферой этих великолепных дворцов и умственным развитием тех, кто возводил их. Часто, косясь на лицо того, кто стоял у соседнего писсуара, я содрогался от ужаса и покрывался холодной испариной.

Странные все-таки места эти подземные убежища-островки. Ошеломленному и раздавленному их величием человеку мнится, что, если бы он скинул всю одежду и голым взгромоздился на один из этих огромных плюшевых тронов, шеренгой выстроившихся вдоль стены, никто бы и бровью не повел. Мне нередко представлялась следующая картина... На одном из таких сооружений удобно расположился ничем не примечательный человек, назовем его Некто. Из рта его торчит потухшая сигара. Некоторое время он читает, потом резко, не глядя спускает курок пистолета, спрятанного за газетными страницами, – и какой-то другой Некто, заглядевшийся на Венеру Анадиомейскую, падает замертво. Неторопливо поднявшись, убийца удаляется, не забыв аккуратно свернуть газетку, в которой зияет дыра с обожженными краями. Небрежно держа газету под мышкой, он поднимается вверх по лестнице, ведущей на улицу. Мгновенье – и он сливается с толпой. Возле кафетерия останавливается перекусить. Покупает пончик из непросеянной муки. (Мука грубого помола куда как полезнее для пищеварения, чем обычная.) Послушный указаниям врачей беречь сердце, просит некрепкий кофе. Его внимание привлекает соседняя витрина с галстуками. Он замечает среди них тот, который проискал всю зиму. Заходит в магазин и покупает дюжину. Время еще не позднее – к тому же у него проблемы со сном, – и он направляется к бильярдной. Уже на пороге он резко передумывает. Сходит лучше посмотреть «Унесенных ветром»...

Эти пташки тоже живут половой жизнью. Лучшей, какую только можно купить. Секс – *hors d'oeuvre*¹², который они заглатывают в промежутке между приступами шопинга. Промандовка присосалась к коктейлю, а если тот ударит ей в голову – что ж, скатертью дорожка. Да на что вам сдались эти истеричные блондинки, которые всегда готовы обвести вас вокруг пальца, стоит только отвернуться? Туго набитая мошна – вот лучший друг мужчины. Деньги! Деньги, чтобы пускать их на ветер, чтобы прожигать жизнь. Деньги – это значит власть. Власть – это значит, что вам все сойдет с рук, вплоть до убийства. Убийство – это значит жизнь. *Ergo*, да не ебитесь вы до посинения!

А теперь пара слов (утес, вынырнувший из дымки воспоминаний) о 52#й улице. Както ночью, лет семнадцать назад, я возвращался домой и наткнулся на заведение под названием «Свечка». Слово резануло глаз (скорей всего, я был сильно не в духе). Я вспомнил о Париже, о рю дю Фобур-Монмартр. Вздумайся французам воспользоваться словом «свечка», чтобы обозвать ночное заведение, у них оно наверняка приобрело бы совершенно другую окраску. Возможно, на рю дю Фобур появился бы шалманчик с названием, например, «Пенистый факел», и никто бы и глазом не моргнул. Если бы в Париже было заведение под названием «Пенистый факел», скорей всего, оно славилось бы репутацией веселого и относительно безобидного местечка. Сюда бы стекались местные проститутки, сутенеры, жиголо, но и случайно заглянувший на огонек посетитель не испытал бы никакой неловкости. Даже сочащаяся со стен сперма запросто сошла бы за часть интерьера, продуманного парижскими умельцами. Здесь надо сделать небольшую оговорку. Конечно, не исключено, что «Свечка» тоже может оказаться неплохим и даже забавным местечком, но лично меня

¹² Жаркое (фр.).

берут на этот счет большие сомнения. Мне не нравится это слово. Не хотелось бы зайти в эту «Свечку» и обнаружить там притон для алкашей, где телка из фильмов категории «Б», в огненно-рыжем парике, пропитым голосом терзает твои уши песенками, долженствующими распалить твое и без того воспаленное воображение. Меня тошнит при одной мысли о том, что, дойдя до точки кипения, придется выложить кругленькую сумму за местечко у огня. Мне отвратительны эти потасканные, задрипанные горлодерки, которые становятся чрезвычайно сентиментальными, как только доходит до дела. Я сатанею, когда думаю, что это «тело электрическое»¹³ может в любой момент покрыться слоем изолятора. Чувствуешь себя психом, продирающимся через толстый покров асбеста.

Разумеется, все это лишь мои домыслы. «Свечка» может оказаться тихим и уютным местом с мягким, приглушенным светом, сладкими, обольстительными голосами и барышнями с бархатной кожей, в изящные ручки которых так и хочется вложить сотенную купюру.

Когда я вспоминаю ночные прогулки по улочкам Монмартра – рю Пигаль, рю Фонтэн, рю дю Фобур, – мне не верится, что когда-то они могли казаться хоть сколько-нибудь зловещими. (Говорил ишак ослу: «Вечерком подгребай к еблярию, повеселимся!») Конечно, парижские улицы были усеяны борделями, и шлюх повсюду вокруг – на тротуарах, в кафе – было как стразов на продажной девке. Может, и гопстоперы там ошивались, и барыги с наркотой. И все же там все было по-другому... *и не спрашивайте меня почему!* Проститутка, пристроившаяся рядом с тобой у стойки, могла запросто задрать юбку, чтобы продемонстрировать свои прелести, в достоинствах которых ты мог убедиться не сходя с места. И не опасаясь, что тебя тут же на месте и повяжут. Самое большее, что тебе грозило, – это укоризненный взгляд метрессы, похожей на добрую людоедку. Прежде чем купить товар, к нему позволялось прицениться. По-моему, это справедливо. Здесь играли в открытую. Хочешь пощупать едва прикрытую грудь и поиграться обтянутыми тонкой тканью сосками, пока их владелица допивает очередную порцию лагера, – на здоровье. Никто не скажет худого слова. Идя с тобой к ближайшей гостинице, над порогом которой покачивается красный фонарь, она с ангельским видом попросит тебя подождать, пока она, присев посреди улицы на корточки, сделает пи#пи. Случись ажану оказаться поблизости, он, конечно, не упустит возможности высказать ей все, что думает по такому поводу, но тащить женщину в участок!.. Фи! Его не проймешь видом дамочки, справляющей нужду на глазах у прохожих. Никто не станет ставить палки в колеса, если тебе вздумается привести с собой в номер хоть полдюжины этих пташек (если ты без шума и пыли раскошелишься на пару лишних полотенец и кусков мыла). Напротив, хозяйка лишь одобрительно фыркнет, ткнув пальцем в направлении ваших апартаментов. Ничего даже отдаленно напоминающего парижскую вольницу не может произойти на 52#й улице среди «коричневых котелков»¹⁴, зазывно пламенеющих «свечек» и отделанных ониксом столов. Хотя там может твориться нечто и похуже. Надеюсь, вам не надо объяснять, что я имею в виду.

Со всех сторон нам пророчат, что близится день, когда на нашем континенте появится новая человеческая особь, эдакое высокоразвитое существо. Если и так, оно должно произрасти из новых семян. Нынешнее поколение годится разве что на удобрение, а никак не на то, чтобы зачать новую расу. Колеся в нью-йоркской подземке, я изучал лица представителей нового поколения, расцветшего пышным цветом за время моего отсутствия, смотрел на безусых юнцов, уже успевших обзавестись собственными отпрысками... Смотрел как на подопытных кроликов. Кроликов, обученных старым как мир фокусам. На их лицах большими буквами читается безнадежность. Они обречены с рождения. Грустно сознавать,

¹³ Намек на известное стихотворение Уолта Уитмена, начинающееся словами «О теле электрическом я пою».

¹⁴ Аллюзия на нью-йоркское кафе «Коричневый котелок» (Brown Derby), популярное среди артистов водевиля и давнее название знаменитому одноименному кафе в Лос-Анджелесе, открывшемуся в 1926 г. в специально выстроенном здании, действительно имевшем форму котелка и выкрашенном в коричневый цвет.

что чем совершеннее условия жизни, тем тягостнее сама жизнь. Можно нарожать кучу детей, можно вырастить новую армию румяных розовощеких юнцов, но и те и другие лишь пешки, предназначенные в жертву жестокому бессмысленному эксперименту. Клеймо передается по наследству от поколения к поколению, пока какому-нибудь одинокому смельчаку не посчастливится выскользнуть из рук исследователя-вивисектора и он не создаст мир по собственному разумению. От него потребуется недюжинная смекалка, чтобы совершить этот побег. Шансов на удачу – один из тысячи. Слишком велика вероятность, что и подопытные кролики, и сам вивисектор задолго до этого момента исчезнут с лица земли. Скорее, какой-нибудь чужак, о ком никто слыхом не слыхивал, какой-нибудь вынырнувший из небытия *homo naturalis*¹⁵ придет и установит свои порядки. Тот, для кого весь наш прогресс со всеми его достижениями равным счетом ничего не значит. Он будет жить на деревьях или в пещерах и петь аллилуйю Ленивой Праздности, пока в один прекрасный день не захлебнется в куче собственного дерьма.

«*Bravo!*» – скажу я, но это сугубо моя личная точка зрения. Да будь это хоть самый грязный ублюдок, чья нога когда-либо ступала на эту грешную землю, вы не дождетесь от меня ни слова роптания. Если единственное его достоинство будет состоять в умении жить и радоваться жизни, обходясь без этого чертова прогресса с его достижениями, утопившими наш мир в крови, я первый выйду навстречу этому типу с распростертыми объятиями. Он должен быть совершенно потрясающим парнем, этот тип, если ему удастся убедить нас, что можно жить – на этом континенте или в любом другом уголке земли, – не прибегая к пыткам и насилию, не скатываясь к мракобесию, обходясь без чудовищных орудий убийства и даже без офисного рабства с его верным спутником, неизбежным вырождением.

Я верю, что этот день обязательно настанет. Мы перепробовали все пути, но нас снова и снова отбрасывало назад, в крошечный мрак страданий, в беспросвет беспомощности.

Переделка мира начнется с этого огромного куска суши, поскольку именно здесь находится раскаленная кузница, где душа человеческая подвергается поистине нечеловеческим испытаниям. Европа давно уже ведет безнадежно проигранную партию, мы же затеяли еще более убийственную игру, поставив на кон все, что имели. Мы ближе к развязке во всех отношениях.

Над всеми национальными и расовыми драмами, заставляющими мир содрогаться в конвульсиях, разворачивается действие еще более грандиозное: мировая драма. Здесь нет зрителей, одни актеры. За всю историю человечества это самое длинное представление; этот пожар потухнет не раньше, чем будет уничтожен существующий мировой порядок. И не важно, холодной или горячей называется нынешняя война, закончится она завтра или через пятьдесят лет. Будущее сулит еще множество войн, и каждая будет ужаснее предыдущей. И так будет продолжаться до тех пор, пока это прогнившее до основания здание не рухнет окончательно. До тех пор, пока не вымрет последний *homo sapiens*¹⁶.

Когда я впервые взялся за эти страницы (1940), на моих подошвах еще не успел осесть прах мира, сгинувшего во тьме веков, мира, столь непохожего на наш, что дошедшие до нас старинные преданья кажутся легендами и вымыслом. Руины, оставшиеся от Кносса и Микен, зародили во мне смутные ощущения, что в том сказочном и бесконечно далеком прошлом люди жили иначе. Я не мог смириться с мыслью, что они умерли все до единого, не оставив никаких следов. Еще труднее было вообразить, что чудом уцелевшие крупницы великой силы, вдохновлявшей наших предков, почти не вдохновляют нас. А сколько их было, этих удивительных эпох, о которых мы даже никогда не слыхали! Но хотя их следы безвозвратно утеряны, память о них продолжает жить в наших жилах.

¹⁵ Естественный человек (*лат.*).

¹⁶ Человек разумный (*лат.*).

Я убежден, что сказки о заре того, что мы называем цивилизацией, не имеют ничего общего с тем, что происходило в действительности. Они есть лишь мертворожденный плод измышлений ученых. Не было никакой зари, как не было и нет начала и конца у шара. Есть жизнь и смерть, неразрывные, как сиамские близнецы. На какой бы ступени развития или регресса ни стояло общество, в каком бы климате и при каких погодах мы ни жили, в войне или в мире, прозябая в невежестве или создавая высокоразвитую культуру, поклоняясь идолам или иным богам, во все времена значение имело лишь одно: борьба личности, ее триумфы и падения, рабство или раскрепощение, свобода или гибель. Природа этой борьбы космична, она не поддается анализу ни в научном, ни в религиозном, ни в историческом смысле.

Взаимоотношения полов есть не что иное, как часть еще более масштабной драмы, разворачивающейся в душе человека. Чем обезличенней, одинаковей мы становимся, тем острее протекает драма сексуальная. Гениталии низведены до уровня обслуживания потребностей остального организма. Одновременно во всех сферах происходит процесс воспроизведения. Но только полноценный организм в состоянии создать что-нибудь новое, свежее – в общем, заслуживающее внимания. Любить можно не только плотью, сердцем и душой, но и как новый человек. Который есть плод разума, рожденный при посредстве желаний, любви, искупления, а не просто зародыш, развивающийся в матке. Нас окружают неродившиеся существа, томящиеся во чреве и ждущие своего часа. Когда нас одолевает тоска по настоящей жизни, их присутствие становится осязаемым и мы выпускаем их на свободу.

С упорством, достойным лучшего применения, я продолжаю твердить, что из создавшегося тупика нет выхода. Что пользы латать старые бреши! На месте выкорчеванных пней должен подняться новый лес.

В жизни все теснейшим образом взаимосвязано. Здравый смысл сопротивляется компромиссам и нарочитости. Живешь как скунс, вот и трахайся как эти лохматые вонючки; ведешь себя как скотина, так и подыхай по-скотски. Теперь же мы едим, спим, работаем, играем и даже совокупаемся как роботы. Сонное царство, в котором, однако, все крутятся как белки в колесе.

Чтобы жить по-настоящему, мало не спать, необходимо стряхнуть с себя сонное оцепенение. Очнись мы от спячки, то ужаснулись бы кошмару повседневности. Не может человек, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заварить такую кашу, которую вовек не расхлебашь, – а ведь от нас это требуется каждый божий день. Мы жертвы собственного безумия, барахтающиеся кто сверху, кто на дне, кто посерединке. И никуда отсюда не деться, и нам неведомо лекарство, способное нас излечить.

«Люди должны жить врозь, каждый сам по себе, освободившись от воспоминаний», – говорил Лоуренс¹⁷. Он испробовал свой совет на собственной шкуре и проиграл. Не может человек жить один, не может все позабыть.

История знает случаи, когда взбунтовавшаяся личность сбрасывала ненавистные путы и пускалась в самостоятельное плавание по океану жизни. Но таких одиночек можно пересчитать по пальцам. Горстка – вы только вдумайтесь! – горстка храбрецов, отважившихся пробить непрошибаемую стену.

Подражателей было куда больше. Но их поступки выглядели лишь жалкой тенью подвигов отчаянных возмутителей общественного спокойствия. Тем более что сами подражатели, слепо копируя действия своих великих предшественников, в действительности ни разу не предприняли ничего, чтобы изменить свое убогое существование. Быть ведомым, а не ведущим – вот проклятье человека.

¹⁷ Из письма, написанного Д. Г. Лоуренсом леди Оттолайн Моррелл 17 апреля 1916 г.

Считаным единицам удалось, преодолевая инерцию нашего непонимания, круто повлиять на ход истории. Перелистывая страницы их жизни, мы сталкиваемся с восставшим человеческим духом, яростно сбрасывающим с себя оковы иллюзий и ложных представлений.

Не идти до конца – вот роковая ошибка человечества. Как говорил Жан Геенно: «Настоящее предательство заключается в том, чтобы принимать мир, каков он есть, побуждая дух оправдывать его»¹⁸.

Если мы внимательно и подробно изучим жизнь этих титанов прошлого, нам, быть может, удастся оценить мощь разрушительных сил, которые мертвой хваткой держат нас за горло. Разум бессилён представить, сколько потребовалось им мужества и воображения, дерзости и терпения, чтобы разорвать липкую, туго затянутую паутину отчаяния и пораженчества. Какие блага, какие утешения могут сравниться с тем, что предлагают нам эти редкие экземпляры гигантов духа!

Нескончаемая вереница разочарований, взлеты и угасание цивилизаций, возникновение и исчезновение с лица земли целых народов и материков – неизбежны, но они не могут сломать то незыблемое и нерушимое здание, которое, собственно, и является единственным человеческим пристанищем. Когда мы станем мудрее и поймем это, мы войдем в него. Тогда нам не потребуется предварительно разрушать мир до основания.

Подобно рекам, растворяющимся в глубинах океана, малые пути и тропы должны сойтись в одной великой и главной дороге, называйте ее как хотите. Мораль, этика, законы, обычаи, верования, догмы – от лукавого. Важно одно: *чудесное должно стать естественным*. Оно и сейчас незримо витает над нами, хотя вечная озабоченность и пораженческий настрой мешают ощутить его присутствие. Но как уродливо, как жалко выглядят наши неловкие попытки призвать Чудо! Мы попусту растрчиваем свои знания и изобретательность, чтобы выдумать штуковины, способные творить чудеса. При ближайшем рассмотрении оказывается, что мы из кожи лезем вон, дабы не подпустить близко это самое Чудо. Мы наводнили планету своими изобретениями, ни на миг не задумавшись, так ли уж они необходимы, не причинят ли они еще бóльшего вреда. Мы создали удивительные средства связи, но разве мы общаемся друг с другом? Мы судорожно мечемся туда-сюда, перемещая наши грешные тела с огромной скоростью, но разве сдвигаемся с мертвой точки? Мы повсюду таскаем за собой кандалы морали и вериги духа. Что с того, что мы сдвинули горы, подчинили себе энергию рек, согнали с исконных мест целые народы, будто это фигурки на шахматной доске, если мы как были, так и остались жалкими, бестолково суесящимися людишками? Непростительное заблуждение – величать подобную деятельность прогрессом. Мы можем до неузнаваемости перекроить землю – сам Создатель не узнает свое детище! – но если мы не изменимся сами, то к чему огород городить?

Сделанное впопыхах и наспех обречено на неудачу. Когда все разваливается и рушится, самое разумное, что можно предпринять, – это сидеть смирно. Разобраться в себе важнее, чем разрушить империю. Истина не нуждается в изречении. Пойди мир прахом, истина пребудет вечно.

В начале было Слово. Человек его воплощает. Человек – не актер, играющий в драме, он – сама драма.

В мире-море страстей и страданий человеческих *можно* – и должно! – жить радостно! Мы ведь не удосужились обзавестись другим миром, предназначенным специально для наслаждения жизнью? Лично я раз и навсегда решил для себя, что не буду заучивать роль единственно для того, чтобы принять участие в представлении, ни за какие ков-

¹⁸ *Caliban Parle*, Jean Guéhenno: Éditions Grasset, Paris. (Жан Геенно. Устами Калибана.) (Примеч. авт.)

рижки не стану ломать копья ради того только, чтобы что-то ломать. Я отнюдь не уверен в неизбежной необходимости того, что творится во имя закона и порядка, мира и процветания, свободы и безопасности. Я не люблю, когда из меня делают идиота! Мой организм не в состоянии переварить происходящее вокруг. Я застолбил себе пятачок, крошечный, но собственный. И я собираюсь его отстаивать. Я даже имя ему придумал сам, не найдя в родном языке ничего более или менее подходящего. Он называется – *pro tem* – страна Ебландия.

Я уже упоминал об этом диковинном царстве как об Интерлюдии. Вновь вернуться к нему меня заставило то, что сейчас оно реальнее, чем когда бы то ни было. Здесь я единственный и абсолютный властелин и повелитель. Может, я и кажусь не столько венценосцем, сколько свихнувшимся шляпником, но лишь потому, что имею мнение, отличное от мнения остальных 999 999 999 999 особей. Там, где другим мерещатся съедобные корешки сельдерея, кольраби и пастернака, я отчетливо прозреваю едва проклюнувшиеся, но быстро входящие в силу ростки, порожденные бациллой нового порядка.

Моего убогого воображения не хватает, чтобы представить, во что превратит этот порядок нашу сексуальную жизнь. Из различных источников мы знаем о лихорадочном неистовом экстазе, в который впадали древние и язычники, совершая свои обряды и ритуалы; история сохранила для нас сведения об утонченном искусстве любви у народов Востока. Но во все времена людей терзали страхи и предрассудки, всегда люди поклонялись своим грозным богам и трепетали перед гневом Высших сил. Кто-то был более свободен, кто-то менее. Но даже в славные времена короля Артура человек не чувствовал себя вполне свободным.

Мы спим и видим, что вот появится Некто и вручит нам на блюдечке ключи от тайн, которые скрыты от нас. Этот Некто представляется нам сыном Адамова племени, посланником Земли и звезд, который играючи рассекает огромные пространства будущего, прошлого и настоящего. Он свободен от любых условностей, табу, запретов и законов. Он не связан ни временем, ни расстоянием. Ему неведомы физические препятствия и моральные преграды. Спать со своей матерью для него столь же естественно, как и с любой другой женщиной. Охваченный желанием в чистом поле, он, ни минуты не колеблясь, удовлетворяет свою страсть с животным. Он не видит греха в том, что наслаждается, овладевая собственной дочерью.

А в мире яви, увечном, парализованном всеми существующими страхами, панически ожидающем возмездия и наказаний (выдуманных зачастую нами самими), большинство наших желаний поневоле выглядят либо ошибочными, либо преступными. Подлинному «я» ведомо другое: стоит лишь закрыть глаза, как все сдерживаемые и подавляемые желания яростно устремляются наружу. Во сне нам грезится, что, презрев колючую проволоку, рвы и ухабы, искусно расставленные ловушки, притаившихся чудовищ, подстерегающих нас, чтобы наброситься и растерзать, мы, несмотря ни на что, преодолеваем все преграды. Когда наши желания не находят выхода или подавляются, жизнь делается бесцветной, отвратительно пустой, уродливой и превращается в подобие смерти. Иными словами, происходит все то, что мы сейчас имеем. Мир лишь отражение хаоса, бушующего внутри нас. Врачи, законники, учителя и новоявленные пророки, облаченные во власяницы смирения, – словом, все те, кто присвоил себе право распоряжаться чужими жизнями, пытаются внушить нам, что для участия в жизни социума первобытный дикарь, как они презрительно называют естественного человека, должен принять бремя ее оков. Любому хоть сколько-нибудь мыслящему существу ясно, что все это ложь и обман. Начинания, в основе которых лежит принуждение, обречены на неуспех. Помыкая другими, угнетая, коверкая чужие жизни, мы никогда не избавимся ни от войн, ни от преступлений, ни от похоти, ни от алч-

ности, ни от злобы, ни от зависти. Все, что творится именем Общества, есть пережевывание навязшей на зубах лжи.

В то же время утверждать, что, избавившись от страха перед возмездием и наказанием, люди тут же кинутся убивать и мародерствовать, чинить разбой и насилие, – значит *ad infinitum*¹⁹ возвести небывалый поклеп на все человечество. Люди стремятся воспользоваться любой выпавшей им возможностью проявить себя с лучшей стороны. Свобода, свалившаяся на голову, всегда чревата вспыхивающими то тут, то там сполохами насилия. Однако, как только равновесие утрачивается, его восстанавливает очередное подобие стихийно установившейся справедливости. Хотим мы того или нет, но в один прекрасный день где-нибудь выстроится очередь из тех, кто придет умолять о смерти как об избавлении, и их мольба будет услышана единственно из милосердия, почтения и уважения к тем, кто явится *после*. По земле бродит немало мерзавцев, заслуживающих участи быть брошенными на растерзание хищникам. Придет день, когда те, кто пренебрег званием Человека, лишатся вероломно захваченных прав и привилегий, награбленных сокровищ и будут безжалостно вышвырнуты вон из жизни, как шелудивые псы.

Мщение всегда будет идти рука об руку с насилием и угнетением. Оправдывать его – невелика доблесть. Но тех, кого насильовали и угнетали, нельзя лишать законного права отмщения. Чтобы уравнивать чаши весов, нельзя поделить людей на чистых и нечистых, нельзя пренебречь и самым последним человечешкой.

Человеческий дух подобен реке, которая вечно стремится к морю. Попробуйте только помешать ей, поставить запруду, и вы рискуете испытать на себе ее гнев. Долго сдерживаемая ярость рано или поздно неизбежно прорвется наружу. Дух, управляющий нашими поступками и мыслями, способен принимать любые обличья; он может уподобить нас ангелам, демонам, богам, наконец. Каждому свое. Путь свободен. Но человек не устает воздвигать перед собой преграды из собственных призрачных страхов. Этот мир приходится нам единственным обиталищем, но мы вынуждены ежечасно завоевывать и подчинять его себе. Любимые ждут нас, но нам неизвестно, где искать их; наш путь лежит у нас под ногами, но мы бессильны распознать его. Наши возможности безграничны, но мы не умеем ими воспользоваться.

Что пользы от нашего пребывания *ici-bas*?²⁰ Нам не дано повторить вслед за Буддой: «Я обрел прозрение, пробудившись окончательно и бесповоротно, поэтому свое прозрение я и назову „пробуждением окончательным и бесповоротным“».

Я хорошо представляю себе мир – ибо он существовал всегда, – в котором люди и животные живут в любви и согласии, мир, непрерывно обновляющийся и переливающийся в лучах любви, мир, в котором нет места смерти. И это не сон, не выдумка, не сказка.

Динозавры исчерпали отпущенный им срок и канули в небытие. Пещерный человек отжил свое – и исчез. Но все, кто был прежде, продолжают жить в нас – презренные, забытые, но еще не погребенные. Они звенья, связующие прошлое и грядущее. Они тоже грезили, но от грез так и не очнулись.

Любая самая ослепительная, самая заманчивая мечта меркнет перед действительностью. Живущие в страхе – обречены на гибель, сомневающиеся – на блуждание в потемках. Эдем прошлого есть Утопия будущего. А между ними простирается беспредельное настоящее, в котором все повинуется однажды заведенному порядку, в котором все происходит именно так, как происходит, и никак иначе, у нас есть все, чего мы только можем пожелать, все необходимое, как у океанских рыб, ибо... наш мир и есть океан, в котором

¹⁹ До бесконечности (*лат.*).

²⁰ На этом свете (*фр.*).

мы все барахтаемся, в его необъятных глубинах находится все, что мы знаем, и все, что нам предстоит узнать... Разве этого не довольно?

Когда я в одиночестве брожу по улицам, во мне оживают образы, прежде не виданные: мне становится доступным прошлое, будущее, настоящее, рождение, возрождение, перед моим мысленным взором эволюция выливается в революцию, затем происходит распад. Я познаю секс во всех его мыслимых и немыслимых проявлениях.

Страны, города, деревушки отличаются неповторимой, присущей только им чувственной атмосферой. Где-то воздух струится тонкими, паробразными нитями спермы, где-то он похож на запекшиеся тягучие сгустки, облепившие стены домов и храмов. Тут – кажется, что все покрыто ковром молодой, только-только проклюнувшейся сочной зеленой травы, издающей тонкий сладковатый аромат; там, напротив, воздух душный, как густой мох, он, как пыльца, оседает на одежде, спутывает волосы, забивается в уши, оглушает... Порой его отсутствие причиняет почти физическую боль, ты начинаешь задыхаться, хватать ртом воздух и, получив долгожданный глоток, вздрагиваешь, как от удара током. (Похожее чувство испытываешь, набредя посреди темной улицы на неоновую витрину, в которой двадцать три беленькие цыпочки несут вахту под безжалостными лучами голых лампочек.)

По манере людей говорить, ходить, носить одежду, по тому, как и где они едят, смотрят друг на друга – каждая мелочь, каждый жест указывают на присутствие (или отсутствие) секса. Порой встречается совершенно особый вид двуногих: истребители секса. Этих ни с кем не спутаешь, они словно отмечены специальным клеймом.

Шатаюсь по городу, я часто прохожу мимо витрин именно в ту минуту, когда тот или иной манекен удостоивается особого внимания. Возложив руки на восковую «ню», оформитель вертит ее так и этак. Удивительно, до чего живым смотрится этот истукан! Не просто живым, но даже слегка кокетливым. Что до оформителя... Ну вылитый гробовщик.

Совершая свой ночной обход, я всегда удивлялся, почему угрюмые, пасмурные городские кварталы кажутся более живыми, притягивают сильнее, чем залитые светом бульвары, где полно разряженных в пух и прах манекенов – одни прогуливаются под ручку, другие стоят в витринах. Взять, к примеру, Грассе. С наступлением ночи он приобретает вид отталкивающий и одновременно завораживающий. К подножию холма, напоминающего огромный муравейник, в котором копошатся нищие и попрошайки, стекаются улочки, кривые, как самодельные бигуди. На каждом углу валяются кучи отбросов, откуда доносится довольное чавканье дорвавшихся до угощения облезлых котов. Летом возле парадных черно от вороньих стай траурных шамкающих старух. В неверном свете одинокого уличного фонаря они переминают кости редким прохожим. Их зловещее карканье иногда перебивается хриплым смехом проститутки. Кажется, что попал на представление, которое разыгрывается специально для тебя. На ступеньке развалилась неряшливая шлюха, светя призывно раздвинутыми ляжками, как путеводный маяк в убогой неприглядности здешнего колорита. Бродяга-полуночник, раз заблудившись, будет смятенно кружить по черным тротуарам, то и дело натываясь на эту распостертую фигуру с разведенными, наподобие циркуля, конечностями и горящими из-под полуприкрытых век черными угольками глаз.

Река, рынок, собор, вокзал, казино зловеще посверкивают, как болотные огоньки. Случайно забредшему прохожему становится нечем дышать, пересыхают губы, кровь холодеет и начинает течь медленными, тяжелыми толчками.

Новичок, впервые попавший в эти места, будет стремиться поскорей выбраться на свет. Я же, напротив, инстинктивно прячусь в темноту, туда, где тишину пререзают непристойные вопли, ругань, хриплый хохот, учащенное пыхтенье... а порой и горькие рыдания. Когда я слышу плач женщины, доносящийся из-за зашторенных окон, со мной начинается что-то невообразимое. Меня охватывает жалость и... возбуждение. Женщина, плачущая

в ночи, – почти всегда женщина, страдающая без любви. Я говорю себе, что вот сейчас эти всхлипывания стихнут в чьих-нибудь жарких объятиях. Иногда так и случается. Рыдания сменяются стонами и вскриками, и я, успокоенный, ухожу восвояси.

От дома к дому, от окна к окну, во мне угасает искорка надежды, несбыточной надежды увидеть за занавеской женщину, которая желает доброй ночи своему отражению в треснувшем зеркале. Хоть бы раз мне посчастливилось перехватить этот взгляд до того, как потушат свет!

По всей земле мужчины и женщины вздрагивают и мечутся в своих постелях-гробницах, их брови продолжают хмуриться и во сне, лица влажны от пота, в прокисших мозгах роятся бесплодные надежды, в сновидениях они мстят кому-то за все свои неудачи... А мне вспоминается маленький пелопоннесский городок с тюрьмой высоко над заливом. Все погружено в сон, кроме этой жуткой клетки из железа и камня, в которой сверкает прозрачный огонь, как если бы разом зажглись души всех приговоренных. У подножия стен, под которыми сходятся узкие, извилистые улочки, слилась в бесконечном поцелуе одинокая парочка. Неподалеку блаженно щиплет траву привязанный к колышку козел. Никем не замеченный, я немного постоял возле них и побрел к пристани. Там сидел, болтая ногами по воде, седой как лунь старый морской волк, просоленный штормами. В его взоре, устремленном к далекому созвездию Арго, читалась надежда однажды увидеть сияние золотого руна.

Все заблудившиеся и одинокие рано или поздно оказываются у воды. В зыбкой черноте ночи сводящая с ума тоска стихает под убаюкивающее журчание. Опустошенный, измученный рассудок успокаивается от мерного плеска воды. Покачиваясь в такт волнам, взбаламученный дух усмиряется и складывает воинственно взметнувшиеся крылья.

Воды земли! Убаюкивающие, утешающие... Святые, крестильные воды! Вода и свет – вот самые загадочные и непостижимые творения Создателя.

Все проходяще. Все канет в Лету. А воды Леты пребудут вовеки!

Февраль – апрель 1957

Биг-Сур, Калифорния

Мудрость сердца

*РИЧАРДУ ГАЛЕНУ ОСБОРНУ,
родом из Бриджпорта, штат Коннектикут, спасшему меня
от голода в Париже и наставившему на путь истинный.
Да хранят его Небеса, да приведут в безопасную гавань*

Созидательная смерть Перевод Б. Ерхова

«Я не хочу, чтобы Судьба или Провидение благоволили ко мне. Ибо по сути я воин». Лоуренс написал это к концу жизни, но уже у самой первой ступеньки своей карьеры говорил: «Чтобы освободиться от власти ближайших предшественников, их следует возненавидеть»²¹.

Люди, которым он был обязан всем, великие, кто питал и воспитывал его, те, кого он должен был отвергнуть, чтобы утвердить свою власть и обрести собственное видение, – разве не обращались они, подобно ему, к истокам? И разве не воодушевляла их та же идея, которую Лоуренс провозглашал раз за разом, – солнце не испортится, и земля никогда не будет бесплодной. И разве они, все они, в их поисках Бога и «недостающего к человеку ключа» не были жертвами Святого Духа?

Кто же были его предшественники? От кого снова и снова, прежде чем высмеять и разоблачить их, он признавал свою зависимость? Несомненно, это были и Христос, и Ницше, и Уитмен, и Достоевский. Все они были поэты жизни, мистики, те, кто, отвергая цивилизацию, весьма способствовал ее лжи.

Лоуренс чрезвычайно зависел от Достоевского. Из всех своих предшественников, включая Иисуса Христа, именно влияние Достоевского ему было труднее всего стряхнуть с себя, превзойти и «преодолеть». Лоуренс всегда рассматривал солнце как источник жизни, а луну как символ небытия. Они были ориентирами Жизни и Смерти; подобно моряку в океане, Лоуренс определял свое местонахождение по этим двум полюсам. «Тот, кто приблизится к солнцу, – говорил он, – это вождь, аристократ из аристократов. А тот, кто ближе к Достоевскому, тяготеет к луне нашего небытия»²². Промежуточные фигуры между ними его не интересовали. «Но самое могущественное существо, – заключает он, – это то, что продвигается к еще неведомому расцвету!» Лоуренс видел в человеке явление сугубо сезонное, луну, что прибывает и убывает, семя, которое прорастает из первородной тьмы, чтобы потом снова в нее вернуться. Жизнь есть явление короткое, переходное, вечно находящееся между двумя полюсами бытия и небытия. Без ключа, без откровения жизни нет, а есть только жертва существованию. Бессмертие Лоуренс интерпретировал как тщетное желание бесконечного существования. Подобная смерть при жизни представлялась ему чистилищем, в котором неустанно борется человек.

Как бы странно это ни звучало сегодня, но цель жизни в том, чтобы жить, а жить – значит внимать, радостно, опьяненно, нежно и божественно. В состоянии божественной внимательности вы поете, и мир в вашем царстве становится не чем иным, как поэмой. В ней нет никаких «почему», нет направления, цели, стремления или развития. Подобно загадочному

²¹ Из письма, написанного Лоуренсом 1 февраля 1913 г. о своем третьем романе «Сыновья и любовники» редактору книги Эдварду Гарнетту.

²² Из эссе «Аристократия», опубликованного в сборнике «Размышления о смерти дикобраза» (1925).

китайцу, вы поглощены вечно меняющимся зрелищем мимолетных явлений. Таково возвышенное, внеморальное состояние художника, живущего только одним провидческим моментом полной, дальнзоркой прозрачности. Столь ясная, ледяная здравость сходна с безумием. Силой и мощью художнического видения статичное и синтетическое целое, которое мы называем миром, уничтожается. Зато художник дарит нам витальную, поющую вселенную, живую во всех ее отдельных частях.

Некоторым образом художник всегда действует против движения судьбоносного времени. Он всегда внеисторичен. Он «принимает Время абсолютно», как говорит Уитмен²³, в том смысле, что, куда бы ни покатылся он (закусив хвост ртом), там и есть его направление; и еще: что любой и каждый миг может быть всем временем сразу; для художника не существует ничего, кроме настоящего, вечного здесь и сейчас, расширяющегося бесконечного мига, который есть пламя и песня. И когда ему удастся установить такую меру страстного опыта (вот что Лоуренс подразумевал под «повиновением Святому Духу»), тогда, и только тогда, он утверждает свою человечность. Только этим он реализует свой образ Человека, покорного любому позыву, – без различий в морали, этике, законе, обычае и прочем. Он открыт для любого влияния – все питает его. Все становится его легкой поживой, включая то, чего он не понимает, – и особенно то, чего он не понимает.

Такова конечная реальность, которую художник узнает в зрелости, она и есть тот символический рай утробы, тот «Китай», который психолог относит в область где-то между сознанием и подсознанием, та предрожденческая безопасность и бессмертие, то единство с природой, у которого он должен вырвать свободу. Каждый раз при очередном духовном рождении он мечтает о невозможном и чудесном, о том, чтобы, поломав колесо жизни и смерти, избежать борьбы и драмы, боли и страдания жизни. Его поэма – это легенда, в которой он хоронит себя и рассказывает о тайнах рождения и смерти, это его реальность и его опыт. Он хоронит себя в усыпальнице поэмы, дабы обрести то бессмертие, в котором ему отказано как физическому существу.

«Китай» – это проекция в духовную область его биологического небытия. Быть – это значит обладать смертной формой, жить в конкретных конечных условиях, бороться и развиваться. Рай, подобно мечте буддистов, – это нирвана, где нет более личности и, следовательно, не существует конфликтов. В рае выражено желание человека восторжествовать над действительностью, над процессом становления. Мечта художника о невозможном, чудесном, – это просто результат его неспособности приспособляться к действительности. Поэтому художник создает свою собственную действительность – в поэме, действительность, которая ему подходит и в которой он может реализовать свои бессознательные стремления, желания и мечты. Поэма – это воплотившаяся мечта в двойном смысле: произведение искусства и жизнь как произведение искусства. Когда человек полностью осознает свои силы, свою роль и судьбу, он становится художником и прекращает борьбу с действительностью. Он становится предателем человечества. Он объявляет ему войну, потому что более не может постоянно идти с ним в ногу. Художник сидит на пороге материнской утробы, лелея воспоминания о своей расе и кровосмесительные стремления и отказываясь двигаться с места. Так он реализует свою мечту о рае. Он преобразует реальный опыт жизни в духовные уравнения; презрительно отвергает обычный алфавит, транслирующий, самое большее, только грамматику мысли, и переходит на язык символа, метафоры, иероглифа. Он пишет по-китайски. Он создает невозможный мир из непонятного языка, из выдумки, которой очаровывает и поработывает людей. Он не то чтобы неспособен жить. Напротив, его стремление к жизни настолько мощно и жадно, что оно заставляет его убивать самого себя снова и снова.

²³ «Сейчас или позже – все равно для меня, я принимаю Время абсолютно» (У. Уитмен. Листья травы. Песня о себе. Перев. К. Чуковского).

Художник умирает много раз, чтобы прожить неисчислимые жизни. Таким образом он мстит действительности и испытывает свою власть над людьми. Он создает легенду из самого себя, придумывает ложь, в которой принимает на себя роль бога или героя, изобретает выдумку, в которой торжествует над жизнью.

Возможно, одна из главных трудностей при соприкосновении с личностью творческого индивидуума – это мощная неясность, которой намеренно или бессознательно он обволакивает себя. Лоуренс же возводил неясность в принцип и ставил на высочайший пьедестал жизни такой ее источник и проявление, как человеческое тело. Все усилия по прояснению его доктрины означают возвращение к анализу вечных, фундаментальных проблем, которые ставил перед собой художник. Проводя нас по мистическому лабиринту, он вечно устремляется к источнику, к самому сердцу космоса. Его творчество в целом обобщается символом и метафорой. «Феникс», «Корона», «Радуга», «Пернатый змей» – названия этих произведений концентрируются вокруг одной навязчивой идеи *разрешения конфликта двух противоположных начал в форме тайны*. Повествование движется с одной плоскости конфликта на другую, от одной проблемы жизни к другой, а символический характер творчества остается постоянным и неизменным. Лоуренс – художник одной идеи: жизнь имеет символическое значение. Или, сказать по-другому: жизнь и искусство – одно и то же.

В выборе названия «Радуга», например, видно, что он пытался прославить вечную надежду на человечество, иллюзию, на которой покоится оправдание Лоуренса как художника. Во всех его символах, и в частности Фениксе и Короне, самых ранних и мощных его образах, мы видим, что он всего лишь придавал конкретную форму своей реальной природе, своей сути как художника. Потому что художник в человеке – это бессмертный символ единства воюющих в нем начал. Жизни следует придавать смысл из-за того очевидного факта, что смысла она не имеет. Следует создавать нечто как лекарство и победное вмешательство в борьбу между жизнью и смертью, ибо решение, на которое указывает жизнь, – это смерть, а на этот решающий факт человек инстинктивно и постоянно закрывает глаза. Чувство тайны, лежащее в основе всякого искусства, – это амальгама всех безымянных ужасов, которые внушает жестокая реальность смерти. Смерть, следовательно, надлежит преодолеть – или замаскировать, или превратить ее в нечто иное. Но в попытке преодолеть смерть человек неизбежно и вынужденно преодолевает жизнь, ибо они неразрывно связаны. Жизнь движется к смерти, и если вы отрицаете вторую, то отрицаете первую. Строгое чувство судьбы, которое раскрывает каждый творческий индивидуум, лежит в осознании цели, в приятии этой цели, в движении по направлению к обреченности, в единении с непостижимыми силами, которые воодушевляют художника и гонят его вперед.

Вся история – это повесть о показательной неудаче человечества предотвратить судьбу. Иными словами, это повесть о немногих творцах судьбы, которые, в силу признания их символической роли, историю делали. Вся ложь и увертки, которыми тешит себя человечество, или, иными словами, цивилизация, – это плоды художника-созидателя. Именно творческая природа человека не допустила его возвращения к бессознательному жизненному единству, характеризующему животный мир, из которого он бежал. Подобно тому как в развитии эмбриона прослеживаются стадии его физической эволюции, так же после извержения из утробы на всем пути человека от детства до преклонного возраста считается его духовная эволюция. В личности художника суммируется в основных чертах вся историческая эволюция человечества. Его творчество – это одна громадная метафора, раскрывающая через образ и символ весь цикл культурного развития, через который прошло человечество, от примитивного состояния до изнеженно-цивилизованного бытия.

Проследившая задним ходом корни творческой эволюции, мы заново открываем в бытии художника различные воплощения героя или его аспекты, которые человек всегда носил в себе. Вот он король, воин, святой, маг, священник и прочее. Путь человечества долгов

и непрост. И смысл пути – в победе над страхом. Вопрос «почему» приводит к вопросу «куда» и затем к «как». Самое глубокое желание – это бегство. Бегство от смерти, от безымянного ужаса. Но бежать от смерти – значит бежать от жизни. На это всегда указывает в своих произведениях художник. Вживаясь в искусство, он делает своим миром промежуточное царство, в котором он всемогущ, в котором он абсолютный монарх. Это промежуточное царство искусства – область, в которой художник играет роль героя, – порождается только из-за глубочайшего чувства горечи. Оно парадоксальным образом возникает из недостатка власти, из осознания неспособности переломить судьбу.

Вот это и есть Радуга – мост, который художник перекидывает над зияющей пропастью реальности. Сияние радуги, обещание, которое она дарит, – это отражение веры художника в вечную жизнь, в постоянную весну, продолжающуюся юность, мужественность и силу. Все его неудачи лишь отражают столкновение хрупкой человеческой природы с неумолимой реальностью. Главной движущей силой здесь выступает воздействие воли, приводящее к разрушению. Потому что с каждой неудачей в реальности художник тем сильнее вынужден полагаться на собственные творческие иллюзии. И все его искусство – это жалкая и героическая попытка опровергнуть человеческое поражение. В искусстве он воплощает чисто воображаемую победу, поскольку победа эта не над смертью и не над жизнью. Художник побеждает воображаемый мир, который сам же и создал. Драматическая коллизия целиком и полностью разворачивается в царстве идей. Война, которую ведет художник с реальностью, – это отражение войны, бушующей у него внутри.

Точно так же, как обретающий зрелость индивидуум доказывает это, принимая на себя ответственность, художник, распознав свою реальную природу, свою уготованную судьбой роль, обязан принять ответственность лидерства. Он наделяет себя силой и властью, и он должен действовать соответственно, не терпя иного диктата, кроме веления собственной совести. Таким образом, принимая свое предназначение, он принимает и ответственность за порождаемые им идеи. И точно так же, как проблемы, которые каждый индивидуум встречает на своем пути, являются уникальными для него и должны быть решены на практике, – так же и все идеи, которые порождает художник, уникальны и должны быть реализованы практически. Художник – он знак самой Судьбы, он сам символ своего предназначения. Поэтому, реализуя логику своей мечты, он реализует себя через уничтожение собственного «я» и воплощает для человечества драму индивидуальной жизни, которая, если хочешь испытать ее в полноте, не должна чураться саморазрушения. Дабы осуществить свою цель, художник обязан устраниваться, удалиться от жизни, используя из своего опыта лишь необходимый минимум, достаточный, чтобы передать ощущение настоящей борьбы. Если же он выбирает жизнь, то побеждает только собственную природу. Художник должен жить опосредованно. Таким образом он приобретает способность воспроизводить чудовищную драму жизни и смерти бесчисленное количество раз, в меру своей жизненной силы.

В каждом новом произведении художник заново играет спектакль принесения жертвы богу. Потому что понятие жертвы подразумевает весьма основательную идею таинства: лицо, воплощающее большую силу, убивают, дабы употребить его тело в пищу и перераспределить его магическую силу между собой. В основе веры в бога лежит основополагающая ненависть к нему, она основана на примитивном стремлении заполучить тайную силу богочеловека. В этом смысле художника всегда распинают – чтобы употребить его в пищу, лишить тайны и насильственно отобрать у него власть и магию. Необходимость бога – в голоде, в жажде иной жизни, и этот голод не отличается от стремления к смерти.

А теперь представим себе человека как священное дерево жизни и смерти. И далее представим себе, что это дерево воплощает собой не отдельного человека, но народ, Культуру. Мы сможем таким образом установить близкую связь между становлением художника дионисийского типа и понятием священного тела.

Продолжая выстраивать образ человека в качестве древа жизни и смерти, мы, возможно, поймем, как жизненные инстинкты побуждают человека все более отчетливо выражать себя через мир формы, символа и идеологии; как они заставляют его наконец пренебречь чисто человеческими, относительными и базовыми аспектами бытия – его животной природой, его слишком человеческим телом. Человек растет, как ствол жизни, чтобы расшириться до процветания духа. Из незначительного микрокосма, всего лишь недавно выделившегося из животного мира, он преобразуется на небесах в великого антропоса, мифического человека зодиака. Сам процесс выделения из животного мира, к которому он по-прежнему принадлежит, вынуждает его все дальше отходить от своей человечности. Только на последнем пределе творчества, когда мир его формы более не сможет принимать дальнейших архитектурных изменений, он внезапно начинает осознавать свои «пределы». Как раз тут его и настигает страх. Как раз тут он доподлинно ощущает вкус смерти – или ее предвкушение.

В этот миг инстинкты жизни преобразуются в инстинкты смерти. В том, что прежде казалось одним только либидо, бесконечным порывом к созиданию, теперь, видимо, будет различим также иной принцип – инстинктивного стремления к гибели. Только на самой вершине творческой экспансии человек становится по-настоящему очеловеченным. Теперь он ощущает глубокие корни своего бытия в земле, свою укорененность. Приоритет, победа и великолепие тела наконец утверждаются в полной силе. Только теперь оно приобретает свой сакральный характер, осознает свою истинную роль. Тройное разделение на тело, разум и душу становится единством, священной троицей. И вместе с тем приходит осознание того, что ни один аспект нашей природы не может возвыситься над другим, кроме как за счет другого или третьего.

То, что мы называем мудростью жизни, достигает здесь своего апогея – когда распознается фундаментальный, укорененный, сакральный характер тела. В самых верхушечных ветвях древа жизни усыхает мысль. Великий духовный расцвет, благодаря которому человек возвысился до божественных пропорций, так что потерял связь с реальностью – ибо он сам стал реальностью, – этот великий духовный расцвет Идеи преобразился в невежество, выражающее себя как тайна Сомы. Мысль заново перемещается по религиозному стволу, поддерживавшему ее, и, проникая в самые корни бытия, опять разгадывает загадку, тайну тела. Она заново открывает родство между звездой, зверем, океаном, человеком, цветком и небом. И мы еще раз понимаем, что ствол древа – сама колонна жизни, это религиозная вера, приятие древоподобной природы каждого, а не желание какой-то иной формы бытия. Как раз приятие законов бытия сохраняет самые важные инстинкты жизни даже в смерти. В рывке вверх императивом, единственной одержимостью являлся «индивидуальный» аспект бытия каждого. Но на самом верху, когда все пределы уже осознаны и приняты, перед человеком разворачивается огромная перспектива и он распознает сходство окружающих существ, взаимосвязь всех форм и законов бытия – органическую соотнесенность, целостность и единство жизни.

То же самое верно для наиболее творческого типа – индивидуально-художественного, который воспаряет над всеми и обладает самым широким, едва ли не «божественным» разнообразием выражения, – этот творческий тип человека должен теперь, чтобы сохранять в себе сами основы мироздания, преобразить доктрину индивидуальности, одержимость ею в общую коллективную идеологию. Таково настоящее значение Главного Образца, великих религиозных фигур, господствовавших в человеческой жизни с самого ее начала. На высочайшем пике расцвета они лишь подчеркивают свою общую человечность, свое врожденное, укорененное, неизбежное человекоподобие. Изоляция в эмпириях мысли и приводит их к гибели.

Встречая такого небожителя, как Гёте, мы видим гигантского древочеловека, не ставившего иной «цели», кроме как раскрыть свое истинное существо, повиноваться глубоким

органическим законам природы. Такова мудрость зрелого ума, находящегося на вершине великой Культуры. Ницше описывал ее как слияние двух расходящихся потоков – мечты аполлонического типа и дионисийского экстаза. В Гёте мы видим совершенный образ человека, головой уходящего в облака и ногами, прочно упирающимися в фундамент расы, культуры, истории. И прошлое, представленное исторической и культурной почвой, и современность с ее изменчивым духовным климатом – оба начала питали его. Гёте был глубоко религиозен, но не испытывал нужды поклоняться богам. Он сам сделал из себя бога. В его образе немислим вопрос о конфликте начал. Такой человек не жертвует собой в пользу искусства, но не жертвует и искусством ради процветания жизни. Творчество его, которое было великой исповедью, – сам он называл его «оставленными в жизни следами», – это поэтическое выражение мудрости, зрелый плод, естественно упавший с дерева. Никакая цель не была чрезмерно высока для устремлений Гёте, но от его внимания и не ускользала ни одна самая незначительная деталь. Жизнь и творчество Гёте отличались невиданным размахом, архитектурной соразмерностью и величием, зиждясь на совершенно органичном фундаменте. Он ближе всех, не считая да Винчи, приблизился к идеалу богочеловека Эллады. Почву и климат, кровь и расу, культуру и время – он объединял в себе все. Все питало его!

С появлением Гёте человечество и культура достигли пика развития, вершины, с которой открываются прошлое и будущее. А значит, финал уже не за горами, значит, дальше путь лежит только вниз. После небожителя, олимпийца Гёте появилась плеяда художников дионисийского склада, людей «века трагедии», о чем пророчествовал Ницше, сам бывший превосходным его представителем. Трагический век, когда все то, в чем нам навсегда было отказано, ощущается с ностальгической силой. Еще раз ожил культ Тайны. Еще раз человек должен воспроизвести мистерию бога, плодотворная смерть которого призвана восстановить и очистить человека от вины и греха, освободить из вечного колеса рождения и становления. Грех, вина, невроз – все это одно и то же, плоды с дерева познания. Дерево жизни ныне становится деревом смерти. Но оно – это то же самое дерево. И как раз от дерева смерти жизнь дает росток и заново возрождается. Об этом свидетельствуют все мифы, в которых фигурирует дерево. «В момент разрушения мира, – говорит Юнг о мировом ясене Иггдрасиле, – он становится повивальной матерью смерти и жизни, тем деревом, что „беременно“».

С этого этапа в цикле истории культуры начинается «переоценка всех ценностей». Его надо рассматривать как обращение вспять всех духовных ценностей, всего комплекса господствующих идеологических поверий. Дерево жизни теперь познало смерть. Дионисийское искусство экстаза заново утверждает свои права. Вмешивается драма. Вновь возрождается трагическое начало. Через безумие и экстаз мы снова возвращаемся к божественной мистерии, пьяные гуляки вновь проникаются жаждой смерти – чтобы умереть творчески. Это преобразование того же самого жизненного инстинкта, что побуждал древочеловека раскрыться с максимальной полнотой. Спасти человека от страха смерти, чтобы он смог умереть!

Так вперед, к смерти! А не назад в утробу. Прочь из зыбучих песков, прочь из застойных потоков! Наступила зима жизни, и наша драма заключается в том, чтобы заполучить точку опоры, с которой жизнь снова двинется вперед. Но эту точку опоры можно найти только на мертвых телах тех, кто жаждет умереть²⁴.

²⁴ Отрывок из неоконченной книги «Мир Лоуренса». (Примеч. авт.)

Бенно – дикарь с Борнео **Перевод Е. Калявиной**

Бенно всегда напоминал мне аборигена Сандвичевых островов. Не только из-за того, что шевелюра у него то прямая, то мелким бесом, не только потому, что, впадая в безумную ярость, он страшно выкатывает глаза, не только из-за его худобы и воистину каннибальского неистовства, когда у него пустое брюхо, но и потому, что он нежен и безмятежен, аки голубь, спокоен и невозмутим, как вулканическое озеро. Он утверждает, что родился в самом сердце Лондона от русских родителей, но это просто миф, сочиненный им, дабы скрыть свое действительно мифическое происхождение. Каждому, кто хоть однажды обогнул архипелаг, известна сверхъестественная способность этих островов то появляться, то исчезать. В отличие от пустынных миражей, эти таинственные острова на самом деле исчезают из виду и на самом деле неожиданно выныривают из неизведанных морских глубин. Бенно весьма и весьма похож на них. Он обитает на своем собственном архипелаге, который вот так же таинственно появляется и исчезает. Никому еще не удалось со всей доскональностью изучить Бенно. Он эфемерен, ускользающ, предательски изменчив и ненадежен. То он горный пик со сверкающей снежной шапкой, то безбрежное, скованное льдом озеро, а то вулкан, плюющийся огнем и серой. Иногда он скатывается к самому океану и лежит там неподвижно, подобно огромному белому пасхальному яйцу, в ожидании, пока его упакут в корзинку, выстланную мягкими опилками. А порой он производит на меня впечатление не человека, рожденного материнским лоном, а чудовища, вылупившегося из крутого яйца. Приглядевшись поближе, вы обнаружите у него рудиментарные клешни, как на изображении Черепахи Квази, и шпоры, точно у петушка, а вглядевшись совсем пристально, заметите, что, подобно птице Додо, он прячет гармонику под правым отростком.

С малых лет, с самых малых лет Бенно пришлось вести одинокую и отчаянную жизнь речного пирата на маленьком островке у черта за пазухой. Неподалеку находился тот самый древний водоворот, о котором рассказывает Гомер в карфагенской версии «Одиссеи». Там Бенно в совершенстве освоил кулинарное искусство, что сослужило ему хорошую службу в чреде лишений. Там он с охотой выучил китайский, турецкий и курдский языки, а также менее известные диалекты Верхней Родезии. Там же он научился почерку, в котором поднаторели только пустынные пророки, неразборчивым каракулям, доступным, однако, пониманию студентов-эзотериков. Там же получил поверхностное представление о тех странных рунических узорах, которые позднее воспроизводил розовой и оранжевой гуашью, ажурно вырезал в своих линолеумных и древесных галлюцинациях. Там же он изучал семя и яйцеклетку, одноклеточную жизнь простейших, которыми ежедневно кишели верши для омаров. Там же его впервые увлекла тайна яйца – не только его форма и гармоничность, но и его логика, его predetermined необратимость. Яйцо неожиданно возникало снова и снова, порой в тонком, как скорлупа, голубоватом фарфоре, порой контрапунктом к треноге, порой расколотое проклевывающейся жизнью. Изнуренный беспрестанными исследованиями, Бенно всегда возвращается к истоку, к фундаменту, к центру собственного мироздания – яйцу. Это всегда пасхальное яйцо, называемое «священным». Это всегда яйцо утраченного колена, источник гордости и силы, уцелевший после разрушения святыни. Когда не остается ничего, кроме отчаяния, Бенно сворачивается калачиком внутри своего священного яйца и засыпает. Он впадает в долгую шизофреническую зимнюю спячку. Это куда лучше, нежели бегать в поисках говяжьего стейка с луком. Нестерпимо проголодавшись, он съест свое яйцо, а потом некоторое время спит где попало, часто прямо позади кафе «Клозери де Ли́ла», рядом со статуей, воздвигнутой в честь маршала Нея. Это, фигурально выражаясь, «сны Ватерлоо», когда повсюду дожди и грязь, только Блюхер так и не появля-

ется²⁵. С восходом солнца Бенно снова тут как тут – живой, бодрый, веселый, язвительный, раздражительный, гундящий, вопрошающий, нерешительный, ворчливый, подозрительный, искрометный, в своей всегдашней синей робе с закатанными рукавами и с вечной табачной жвачкой за щекой. К закату он успевает приготовить с десятков новых полотен, больших и маленьких. А дальше уже вопрос пространства, рам, гвоздей и кнопок. Паутина сметена, пол вымыт, стремянка убрана. Постель брошена на произвол судьбы, вши веселятся, звенят колокольчики. Ничего не остается, как прогуляться в парк Монсури. Здесь, лишенный одежды и плоти, покинутый родом человеческим, Бенно рассматривает синицу и амариллис, что-то записывает насчет петушков-флюгеров, изучает песок и камни, которые его почки неустанно выбрасывают наружу.

С Бенно вечно так – пан или пропал. Грузит ли он щебень на Гудзоне, расписывает ли стену дома. Он динамо-машина, камнедробилка, газонокосилка и часы с восьмидневным заводом одновременно. Он вечно где-то что-то ремонтирует и чинит. Все ракушки соскоблены с днища, все швы просушены и законопачены. Иногда устанавливается новая палуба. Посмотрите на дело его рук, тот же остров Пасхи графа Потоцкого де Монталк²⁶: новые достопримечательности, новые монументы, новые реликвии, все расплывается в камменно-зеленоватом свете, льющемся сквозь камыши. И вот он сам, Бенно, восседает в центре своего архипелага, и яйца носятся вокруг него как угорелые. На этот раз только новые яйца, с новой гармонией, все они режутся на лужайке. Бенно, толстый и ленивый, нежится на солнышке, подливка стекает у него по подбородку. Он читает прошлогоднюю газету, чтобы скоротать время. Он изобретает новые блюда из морской капусты с гребешками, а если нет гребешков, то с устрицами. И все это под вустерским соусом с жареной петрушкой. В такие минуты он любит все мясистое и брызжущее соком. Он разрывает кости и урчит, словно довольный волк. У него гон.

И все это, повторяю, чтобы скрыть свое немислимое происхождение. Чтобы скрыть свое чудовищное появление на свет, Бенно втирается в доверие, скользкий, как пума после дождя, заводит речи о том о сем. Несусветная абракадабра ферментирует у него внутри. Странной формы уравнения, замысловатые новообразования, похожие на растения, плесень, мухоморы, слизь-трава, ядовитый плющ, мандрагора, эвкалипт – все формируется в ложбинках внутренностей в виде диких линолеумных узоров, которые выгравировал резец, когда Бенно выйдет из транса. По меньшей мере девять различных городов погребены под его диафрагмой: посередине находится Самарканд, где у него однажды состоялось randevu со смертью. Тут он прошел процесс остекления, после которого средние слои стали гладкими как зеркало. Тут, пребывая в крайнем отчаянии, он бродит среди сталактитов и сталагмитов, прохладных, как лезвие ножа, и украшенных багровыми листьями. Тут он видит себя вечно юным брюзгой из «Швейцарской семьи Робинзонов»²⁷, мрачным типом, который играл на побережье у Адских врат. Здесь воскресают ностальгические запахи: запах крабов и морских черепах, всех тех маленьких деликатесов из прежней островной жизни, когда формировались его вкусы.

²⁵ *Гехард Леберехт фон Блюхер*, князь Вальштадский (1742–1819) – прусский фельдмаршал, участник ряда Наполеоновских войн, командующий прусскими войсками в боевых действиях против вернувшегося Наполеона, победитель при Ватерлоо (1815). В 1815 г., по возвращении Наполеона с острова Эльбы, Блюхер принял начальство над прусско-саксонскими войсками в Нидерландах. Частично разбитый под Линьи, он, преследуемый Груши, не мог успеть к началу битвы при Ватерлоо. Тем не менее подход авангарда прусской армии стал переломным моментом сражения. Решил победу Гнейзенау своим гениальным, по мнению Наполеона, маневром, после которого, неотступно преследуя французов, прусские войска подошли к Парижу и принудили его к сдаче.

²⁶ *Жоффрий Владислас Вейл Потоцкий де Монталк* (1903–1997) – родившийся в Новой Зеландии потомок графов Потоцких, поэт, писатель-полемист, известный своими языческими воззрениями.

²⁷ Роман швейцарского пастора Иоганна Давида Висса (1743–1818), в русском переводе более известный как «Швейцарский Робинзон».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.